

Игорь Карпусь

Уроки без перемен

Книга жизни

Игорь Карпусь

Уроки без перемен. Книга жизни

«Издательские решения»

Карпусь И.

Уроки без перемен. Книга жизни / И. Карпусь — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-507385-3

«Уроки без перемен» — книга своеобразная, не из потока. Это история на уровне человека и рода, таких всегда не хватало. И если частная история написана с умом и сердцем, то она становится впечатляющим отражением истории народной. Жизнеописание сочетается с историческими заметками, картинами современности, зарисовками природы, очерками друзей и знакомых, философскими размышлениями. Сатирические и лирические «Были-небылицы» подводят итог раздумьям о родине, человеке, смысле жизни. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-00-507385-3

© Карпусь И.
© Издательские решения

Содержание

Самолётик	8
I. Спираль	10
Предки	10
Дед	14
Товарищество	16
Крушение	17
Оккупация	19
Бабушка	20
Родители	23
Мать	25
Раннее	28
Сказка	30
Виталий	31
Впечатления	34
Усть-Лабинская	36
Обман	38
Воспитатели	39
Шубины	41
Бикин	42
Семья	44
Лагерь	46
Увлечения	48
Пластинки	50
Поклон	52
Ровесники	55
Побег	57
Наставник	59
Вознесенская	61
Казачка	63
Самообразование	64
Преподаватели	65
Товарищи	67
Подруги	69
Завод	72
Лакинка	74
Мастер	76
Рита	78
Начало	81
Университет	83
Саша	85
Экспедиция	87
Экскурсовод	89
Становление	94
Лёха	97
Былины	98
Столкновение	101

Калачинск	102
Эпоха	104
Контрасты	106
Земля	108
Пушкин	111
Читатель	113
Музыка	119
Конец ознакомительного фрагмента.	121

Уроки без перемен Книга жизни

Игорь Карпусь

Четвёртое издание, исправленное

© Игорь Карпусь, 2019

ISBN 978-5-0050-7385-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Эта книга выросла из другой. В 1999—2005 гг. автор издал в трех выпусках «Свое и чужое. Дневник современника». Дневники быстро стареют, все мимолетное и злободневное уходит в прошлое и теряет значительность. Но «Дневник» был написан так широко и проникновенно, что открывал возможность, путем перегруппировки материала, создать новую книгу. Так появились «Уроки без перемен». Сюда вошли и новые тексты, написанные в последние годы.

Композиция повествования подобна раскручивающейся спирали: от малого ребенка до сложившегося, зрелого мужчины. Всё, что он узнал, понял, пережил, легло на страницы, жанр трудно поддается определению. Жизнеописание сочетается с историческими заметками, картинками современности, зарисовками природы, очерками друзей и знакомых, философскими размышлениями. Сатирические и лирические «Были-небылицы» подводят итог раздумьям о родине, человеке, смысле жизни.

Здесь нет произвола, так складывается и наяву, где прошлое и настоящее переплетаются, своё и чужое, проза и поэзия едины и нераздельны. Всё многообразие тем и сюжетов скреплено личностью автора – человека напряжённой души и пытливого разума.

«Уроки без перемен» – книга своеобразная, не из потока. Это история на уровне человека и рода, таких всегда не хватало. И если частная история написана с умом и сердцем, то она становится впечатляющим отражением истории народной.

Первое издание «Уроков» вышло в 2007 г. Третье издание оцифровано и доступно на сайте Российской государственной библиотеки наряду с другими книгами автора. В текст четвёртого издания внесены незначительные добавления и исправления.

Автору можно написать по адресу: kiprei_5@mail.ru

#

*Мой дух, сокрытый под обложкой,
Свернувшись, дремлет рыжей кошкой,
Пока таинственно молчит.
Но скрипнет дверь во тьме входная,
И кошка, мигом оживая,
На свет проворно побежит.*

*Я не забыт – меня не знали,
Как никогда не замечали
Гнезда, прикрытого травой.
А в нем под тонкой скорлупой,
Омытой влагой дождевою,*

Комок пульсирует живой.

30 марта 1999 г.

Самолётик

В июне 72-го наша группа собралась в кафе «обмыть» университетские дипломы. 6 лет мы встречались на лекциях, семинарах, экзаменах; 6 лет жили в непрерывных волнениях и тревогах, обменивались конспектами и контрольными, бурно откликались на успехи и провалы товарищей. В этот день мы прощались в полном составе с университетом и поздравляли друг друга с трудной победой. Чувство легкости и беспечной свободы развязало языки, даже самые застенчивые и молчаливые торопились высказаться: зажигательные тосты, забавные воспоминания, объятия и признания. Неожиданно вскинул руку полнотелый Толя Близняков, наш староста, и, перекрывая застольный гул, внушительно произнес: «Я предлагаю заглянуть в наше будущее. Сейчас полетят самолётики, и вы найдете в них то, что с вами произойдет. Не зевайте!» И Толик один за другим начал вынимать из картонной коробки бумажные самолётики и отправлять в полет над столом: «Вера, Николай, Светлана, Андрей, Игорь...» Мы ловили белых птиц, расправляли крылья и со смехом оповещали: «Выйти замуж и стать матерью-героиней. Защитить диссертацию. Переехать и засветиться в Москве. Стать директором совхоза...» Подошла моя очередь, и я прочитал: «Написать книгу, чтобы нас помнили». Под звон бокалов меня тут же нарекли «писателем».

О книге я тогда и не мечтал, переполняли другие заботы и планы. Лишь через 20 лет, когда подрос мой дневник и появилась издательская свобода, я прикинул: а почему бы и нет? Я не умею сочинять, и роман, пьеса, повесть исключались. Историческое исследование? Для этого нужно было заняться наукой и изменить привычный быт, к которому прикипел. Но зачем же искать и придумывать? Ведь я давно пишу книгу – свою жизнь, вот она, под рукой. И я решил издать дневник, дополненный воспоминаниями.

Недолго раздумывал, стоит ли мне, неизвестному и обыкновенному человеку, выпускать в мир собственную книгу. Судьба сделала меня учителем-историком, я перебрал сотни документов и знал, что правдивые свидетельства простых граждан не менее весомы и значительны, чем записки прославленных деятелей. Более того, их-то зачастую и не хватает исследователям. В битве жизни история уравнивает генералов и рядовых. Кто только ни пишет книги: палачи и насильники, фавориты и содержанки, авантюристы и лакеи, манекенщицы и шпионы... Их читают, восхищаются, завидуют. Так неужели в этой весёлой компании я буду лишний – учитель, хорист, лесной бродяга? И я без колебаний запустил свой бумажный самолетик: пусть летит через годы и пожары беспамятства. А если сторит, так что ж – на то он и бумажный.

Покойный Тимофей Иванович наставлял: «Запомни: перемены для учеников, а для учителя – подготовка к очередному уроку. Положи на глаза все необходимое, восстанови в памяти план и настройся, продумай первые и последние слова».

Втянулся в школьные будни и оценил правоту старого учителя: перемена – не остановка, а переход. Отдыхом было не бездействие, а сам урок, когда он разворачивается живо и свободно. Звонок возвещал о перемене, но урок не отпускал. Подходили ученики с вопросами и суждениями, показывали работы, уточняли оценки и напрашивались на вызовы, старались заглянуть вперёд: а что мы будем изучать завтра? Так и не получалось передохнуть, перемены были не перерывами, а мостиками, и вся школьная жизнь запомнилась как один сплошной урок.

Пришло время, и я вынужденно оставил школу. Смолкли звонки, закрылись двери классов, ушли ученики. А учительская привычка жить уроками осталась, они продолжают всегда и всюду. Уроки дает природа, люди, книги, история – весь мир, частью которого стал с первым криком. Вопрос в том, чтобы понять, усвоить эти уроки, взять чужое и отдать свое. Устал, запросишься на перемену – и время промчится мимо, унесет что – нибудь важное и невоспол-

нимое, урок будет потерян безвозвратно. И ты, как нерадивый ученик, превратишься в болвана и слепца.

Если вдуматься, каждый из нас совмещает в себе учителя и ученика, непрерывно учится сам и учит других. И все пребываем в классе мудрой и требовательной учительницы – жизни. У неё не спросишь: «А перемена скоро? Разрешите выйти? Можно, я отвечу на следующем уроке?». Не отпустит, не отложит, не продлит. Даёт урок и спрашивает без послаблений каждый день, каждый год вплоть до последней перемены...

В математике есть понятие «мнимые величины». А люди научились творить мнимые перемены и под их вывеской прячутся от грозных вызовов времени. Ответить на вызов – значит, отказаться от своей себялюбивой природы, а на это мало кто способен. И только одну перемену никому не дано извратить и подменить, она предстоит каждому. Что неизбежна – известно всем, но она ещё и необходима. Одни страшатся, другие отмахиваются, а я просто жду. Та последняя перемена, которая унесёт всё мнимое, навязанное и озарит светом истины минувшую жизнь.

І. Спираль

Предки

Прадед, тамбовский крестьянин Андрей Афанасьевич Кутузов, родился в 1856 году¹, накануне отмены крепостного права. В царствование Александра III его сослали по приговору сельского общества на поселение в Западную Сибирь. Преступление в те времена было обычное: Андрей Кутузов бросился с топором на пристава, когда за недоимки уводили со двора кормилицу семьи – корову. В таких случаях окружной суд лишал «всех особенных, лично и по состоянию присвоенных... прав и преимуществ» и определял в исправительное арестантское отделение на разные сроки². Как правило, после отбытия срока крестьяне отказывались принять осужденного обратно, и следовала ссылка за Урал.

Я гляжу на «Осуждённого» В. Маковского и вижу прадеда Кутузова. Молодого мужика в арестантском халате жандармы выводят из суда. С зажатой в руках шапкой, он приостановился на пороге и затравленно смотрит на бедных стариков-родителей. Мать в отчаянии заломила руки, отец размазывает кулаком слёзы – больше они никогда не увидят сына. В далёкий край за мужем отправилась жена Татьяна Семёновна (род. в 1862) с малолетками Петром, Марией и Александрой. Тобольская казенная палата причислила Кутузова к крестьянам Тюкалинского округа, а Тюкалинское окружное полицейское управление предписало поселиться в Крутинской волости. Прадед получил необходимую помощь и поставил избу в деревне Кабанья. На новом месте семья приросла двумя девочками – Авдотьей и Пелагеей.



Прадед А. А. Кутузов с внуками.
Крутинка, 1900-е гг.

¹ Посемейные списки Крутинского сельского общества. 1906 г. Исторический архив Омской области, ф. 20, оп. 1, д. 90а

² ИАОО, ф. 20, оп. 1, ед. хр. 81. Статейные списки ссыльных...

Мать сохранила единственное изображение Андрея Афанасьевича столетней давности, оно хорошо передаёт сильный, уверенный и прочный характер прадеда. Засучив рукава рубахи, он присел перед сельским фотографом, положил на колени широкие ладони и слегка подался вперёд крепко сбитым телом. А справа и слева пристроились малолетние внуки. Простое лицо с коротко подстриженной бородой и усами, густые волосы зачёсаны на бок и открывают высокий лоб, взгляд острый, выжидательный. Дед, Пётр Андреевич Кутузов, родился в 1879 г. Отец и сын Кутузовы были известными в волости плотниками и столярами, работали по подрядам, а Пётр Андреевич прославился ещё как незаменимый слесарь и жестянщик. В церковно-приходской школе он осилил грамоту, хорошо пел, играл на гармонии и балалайке.

Кутузовы недолго жили в Кабаньей. Подросли старшие дочери Мария и Александра, вышли замуж и переехали в Крутинку, вслед за дочерьми туда же перебрались и родители. На берегу широкого озера Ик отец и сын поставили добротную избу, которая простояла без малого 100 лет. Крутинка расположена в 185 км к с-з от Омска, её история насчитывает два с половиной века. В 1758 г. было принято решение проложить новый, более короткий и удобный, участок Сибирского тракта – самой длинной в мире сухопутной дороги, связавшей Москву с восточными окраинами империи. Новую трассу «от Мельничного редута через степь на Абацкую слободу» обследовал инженер-поручик Бутенёв и указал места для поселений. Немедленно Сибирский губернатор Ф. Соймонов издал указ: «не пожелает ли кто на Абацкой степи и около положенной дороги поселица... удобные к хлебопашеству и сенокосные места показаны будут...» К лету 1760 г. на берегу речки Крутой при впадении её в озеро Ик был поставлен станец Крутинский – почтовая изба для смены лошадей и передачи почты, а рядом с ним постепенно выросла деревня. Заселили её крестьяне из ближних Ялуторовского района и Викуловской слободы. Сюда же власти стали направлять ссыльных из великорусских губерний, Украины и Кавказа.

Выбор места под поселение был сделан настолько удачно, что через полтора столетия маленькая деревушка превратилась в многолюдное село, центр одноименной волости. Через Крутинку перевозились купеческие грузы, шли вольные переселенцы, воинские команды. Обилие лесов и озёр, пригодная для земледелия почва способствовали подъёму хозяйства. В посемейные списки Крутинского сельского общества в 1906 г. занесено 377 семейств общей численностью 1569 человек, из них 859 лиц мужского пола и 710 женского. Немало, если учесть, что население уездного Тюкалинска едва превышало 4 тыс. человек.

Бабушка Мария Ивановна родилась 29 июня 1896 г. в семье тюкалинских мещан Ивана Михайловича и Анны Васильевны Хандиных. Тюкалинск чуть постарше Крутинки, он стоит на том же участке Сибирского тракта – их разделяет 50 километров. В 1823 г. Тюкалинская слобода преобразована в город, а ещё через 53 года Тюкалинск стал центром округа. В конце 19 века здесь было 700 жилых строений, 2 церкви, приходское и 2-классное училища, почтово-телеграфная контора и 25 кустарных предприятий, которые производили продукции на 82 тыс. рублей; среди них – пимокатная мастерская Ивана Хандина: она снабжала жителей валяными сапогами – пимами. Тюкалинск был купеческий и мещанский городишко, отсюда вывозили сливочное масло аж в Германию, Англию и Швецию. Описание местного тюремного замка попало в книгу американского журналиста Дж. Кеннана «Сибирь и ссылка». В конце 1870-х гг. Хандины могли встречать на тюкалинских улицах ссыльного поэта-народника Григория Мачтета. Его стихотворение «Последнее прости» стало знаменитым траурным маршем, под звуки которого провожали в последний путь борцов с самодержавием:



Пётр и Мария Кутузовы
Крутинка, 1913

*Замучен тяжёлой неволей,
Ты славною смертью почил...
В борьбе за народное дело
Ты голову честно сложил...*

Со своим суженым бабушка познакомилась в Крутинке, куда приезжала к брату. Ей едва исполнилось 17, а Пётр разменял 4-й десяток и был женат. Глубокое и сильное чувство помогло им преодолеть все препятствия и условности. Невзирая на строгий запрет отца, Мария оставила семью и уехала к любимому в Крутинку; Пётр Андреевич ушёл от жены. Жили невенчаные, и только 4 декабря 1936 г. зарегистрировали свой брак в с. Улала Ойротской автономной области. В выданном свидетельстве содержится запись: «В фактическом браке с 1913г.»³

Бабушка получила образование в уездном училище и, подобно мужу, страстно любила читать и слушать чтение. В доме Кутузовых часто открывался сундук с художественными и историческими книгами, не стеснялись обращаться за литературными новинками к купцам Степановым, Вольфу, Снеткову. У бабушки был приятный голос, и в праздничные дни, среди гостей, она охотно пела под гитару «Пряху», «Хуторок», «Чудный месяц», «Зореньку». В 1914 году в семье родился сын-первенец Евгений, через 4 года – Наталья, моя мать, в 1921 г. – Георгий и в 1923 – Нина. В метрической книге Пророко-Ильинской церкви с. Крутинское за 1918 г. я обнаружил под №208 следующую запись: внебрачная девочка Наталия родилась

³ ИАОО, ф. 2750, оп. 1, д. 98

2 августа (15-го по н. ст.), крещена 5 августа в честь мученицы Наталии, родительница – «города Тюкалинска мещанская девица Марфа Иванова Хандина, православная»; восприемники Михаил Дмитриевич Борисов и Евдокия Михайловна Еремеева; таинство крещения совершили священник Михаил Сороколетов и дьякон Георгий Пузырев.⁴ В год рождения матери в Крутинке появились на свет 429 девочек и 474 мальчика, ушли из жизни 303 мужчины и 266 женщин. Дети умирали от поносов, кашля, коклюша, скарлатины, а взрослые – от тифа, чахотки, слабости и старости. То было время Смуты и разгорающейся гражданской войны. Омская область находилась под властью эсеров-меньшевистского Временного Сибирского правительства, разгромленные большевики ушли в подполье, восстанавливались дореволюционные порядки.

Сестра бабушки Агафья вышла замуж за крестьянина дер. Чумановка Василия Ефимовича Каплюченко и умерла от первых родов. Сына Василия от второго брака, безрукого фронтовика Ивана Каплюченко, я хорошо знал. Он работал совхозным управляющим и в 80-е годы посещал мои политзанятия в Чумановке. Его вдова, Валентина Егоровна Каплюченко, 45 лет вела сельскую школу, она провожала в последний путь мою мать (ум. в 2010 г.)

Брат бабушки, Григорий Иванович Хандин, был мобилизован на бесславную японскую войну и под Мукденом получил ранение в ногу. На фотографии с характерным коричневатым оттенком, сделанной в госпитале, он лежит с тростью подле молодых сестёр милосердия и внимательно смотрит в объектив истории. Через 10 лет Григорий Хандин воевал на другой войне, германской, а его жена и двое детей получали в 1917 г., по постановлению Временного правительства, продовольственное пособие. Ежемесячно волостной старшина, а затем председатель волостного комитета, расписывался в раздаточной ведомости за неграмотную Ирину и выдавал ей денежный паёк в 9 рублей 88 копеек⁵. Бабушка, как незаконная жена, не имела права на пособие и поднимала сына одна. Свекровь Татьяна Семёновна умерла рано, не дожив до 50, во время войны заболел и скончался Андрей Афанасьевич.



Григорий Хандин в полевом госпитале (1-й ряд, 2-й спр.)
Маньчжурия, 1905

⁴ ИАОО, ф. 16, оп. 6, ед. хр. 1423, л. 70

⁵ ИАОО, ф.20, оп.1, ед. хр. 90

Дед

Мобилизованный на мировую, дед служил в самокатном батальоне. В 1917 г. он находился в Петрограде и был захвачен вихрем революции: участвовал в демонстрациях, слушал выступления Ленина и его соратников. В Крутинку дед вернулся большевиком и влился в местную большевистскую группу. Приход колчаковцев мужики встретили враждебно, они не собирались идти на фронт и проливать кровь в братоубийственной войне. Массовые порки и расстрелы, повальные обыски и грабежи ещё больше озлобили сибиряков. В доме деда хранились в тайнике ружья и револьверы, а сам он уговаривал односельчан саботировать распоряжения властей и уклоняться от мобилизации. Осенью 1919г. на постое у Кутузовых жил солдат из карательного отряда, присланного омскими властями. Тогда Колчак объявил мобилизацию 22-х возрастов от 18 до 43 лет, и в Тюкалинском уезде намечалось призвать до 20 тыс. человек, чтобы пополнить белые части и остановить наступление Красной армии.

Постоялец Ванька, прозванный Палачом за лютый нрав, был дюжий толстогубый мужик с юркими глазами, от его прелых портянок несло такой вонью, что бабка на второй же день подарила ему кусок чистого полотна. Ванька быстро освоился в кутузовской избе. Он подбрасывал на руках годовалую Наташу и признавался бабуле, что шибко скучает по своим малышам. Без всякого смущения солдат хватал из чугунка картошку, отпивал из кринок молоко, а перед уходом на службу совал в карман ломоть хлеба. Бабуля только морщилась от такого нахальства, а дед хмурился и успокаивал: «Чёрт с ним, пускай жрёт напоследок. Недолго им осталось командовать». К хозяину Ванька был настроен миролюбиво, но однажды спросил, почему он не торопится на призывной участок. Дед не стал хитрить: «Я своё при царе отслужил. А вот ты кому служишь?» Солдат заученно гаркнул: «Законному Верховному правителю России. И ты, Андреич, обязан исполнять его приказы». Дед не сдержался и принял вызов: «Ну, какой он Верховный... Самозванец. Смотри, Ванька, не прогадай, одумайся, пока не поздно, с кем тебе воевать». Солдат ничего не сказал, затянул ремень потуже и вышел из избы. А ночью Петра Андреевича арестовали по доносу и посадили в каталажку – крутинскую тюрьму. Не избежать бы ему пули на сельском кладбище, да товарищи подпоили охрану и выпустили заключённых на свободу. Объявленная на сентябрь мобилизация мужского населения в Тюкалинском уезде была сорвана: тысячи призывников скрылись и ушли в леса партизанить.

Дед свято верил в Ленина и Советскую власть – «самую правильную для трудового народа». В горнице висел на видном месте большой портрет Ильича в добротной самодельной раме, а под ним – альбом вождей Октябрьской революции. Отец часто листал альбом и объяснял детям: «Это Лев Давидович Троцкий, а это – Анатолий Васильевич Луначарский...» Нередко он устраивал экзамен, и мать, как правило, безошибочно называла имена на портретах. Прямой и бесстрашный, Петр Андреевич болезненно воспринимал любые злоупотребления, чванство, произвол местных коммунистов и открыто их критиковал, а на партийных собраниях при исполнении «Интернационала» вызывающе пел: «Кто был ничем, тот стал никем».

Дед был художественно одаренная и деятельная натура. В первые послевоенные годы он организовал драматический кружок и объединил голосистых сельчан в народный хор. Однажды Пётр Андреевич привёл в хор 17-летнего Костю Борисова, любимого племянника, и наказал ему: «Слушай старших и подстраивайся». По примеру деда и другие родители стали водить в хор своих детей. Клуба ещё не было, и спевки, репетиции проходили в каменном особняке бывшего магазина купцов Вольф. Пели старинные и революционные песни, играли пьесы Островского и водевили Чехова. Как-то раз в горницу набилось столько народу, что затрещали и просели половицы. То-то было смеху, когда взрослые и дети бросились врассыпную Бабушка

тоже не чуралась общественной жизни села: постоянно выполняла поручения женсовета, была народным заседателем в суде.

Пожилые крутинцы вспоминали, что Кутузовы охотно помогали вдовам, многодетным и бедным семьям: бабушка делилась домашними припасами и сажала за стол рядом со своими чужих ребятишек; дед пахал огороды, точил косы, подшивал пимы... Заядлый рыбак и охотник, он часть добычи всегда отдавал соседям. Из грибов особенно ценил грузди и знал укромные лесные места, где они водились в изобилии. Дед никогда не повышал голоса, не впадал в гнев, не раздавал пустых обещаний. Посмотрит выжидательно строгим взглядом, и горлохват, бездельник, пьяница прикусит язык, отведет глаза и примется поправлять испорченную работу. Степенностью, немногословием, скрытой внутренней силой дед заметно выделялся среди земляков и пользовался у них непререкаемым авторитетом. В родной семье его любили и уважали безгранично. Стоило матери напомнить об отце, как расшалившиеся подростки успокаивались и принимались за свои дела. Их останавливал не страх: отец не умел злиться и наказывать. Его требовательные глаза, скупые жесты и замечания пробуждали у детей чувства вины и раскаяния.

Товарищество

Одним из первых Кутузов поддержал кооперативное движение в районе. 15 февраля 1928 г. собрание сельских домохозяев под председательством деда принимает решение об учреждении Крутинского машинного товарищества. 27 февраля Крутинский райисполком зарегистрировал устав товарищества под №39. Пятнадцать крестьян вступили в кооператив и избрали членами правления Петра Кутузова, Степана Пузырева и Петра Селюткина. Все пайщики внесли по 10 рублей на образование основного капитала, а Крутинский сельский Совет удостоверил, что они «не лишены избирательных прав, под судом не находятся, руководители в родстве не состоят». Своему кооперативу мужики присвоили название «Батрак». Многие из них привыкли батрачить в чужих хозяйствах, а теперь собирались работать на себя.

Накануне полевых работ дед предложил создать производственную артель и получил поддержку товарищей. 11 апреля 1928 г. общее собрание под председательством Кутузова постановило «перейти из простого машинного товарищества в машинное товарищество по совместной обработке земли». Вновь председателем правления единогласно избирается мой дед. Собрание уполномочило правление делать займы в Крутинском кредитном товариществе и подписывать векселя на сумму до 1000 рублей. 13 апреля председатель правления обратился в Крутинскую районную земельную комиссию с заявлением «О ликвидации простого машинного товарищества и регистрации вновь организованного». Документ написан на половине тетрадного листа крупным разборчивым почерком и заверен подписью: «К сему пред. правления Кутузов». Райисполком не замедлил выполнить просьбу и известил окружное земельное управление о регистрации устава товарищества по совместной обработке земли «Батрак».

Новый ТОЗ сразу подал заявку на приобретение 2-х сенокосок в комплекте с граблями и 2-х плугов. Из «Списка имущественного и семейного положения членов товарищества «Батрак» можно узнать, что семья Кутузова из 6 едоков имела в собственности дом, избу малую, баню, телегу, лошадь Воронко, 5 коров и две головы мелкого скота⁶. Интересно, что из всех пайщиков только Кутузов держал свинью; в сибирском селе особенно ценились и преобладали коровы. Общая стоимость имущества составляла 500 рублей, и наряду с А. Клевакиным дед числился самым зажиточным артельщиком. У остальных стоимость имущества колебалась от 200 до 450 рублей. Это были однолошадные середняки, хозяйства которых обслуживались личным трудом. Крестьяне, не имевшие лошадей, выбыли, и 11 членов ТОЗа располагали имуществом на сумму 3650 рублей, в среднем 332 рубля на двор. Размер небольшой, если учесть многодетный состав большинства семей. Нужда толкала крутинских мужиков к сложению своих сил и средств.

Правление «Батрака» заседало обычно в доме деда: Иван Сугатов, Красиков, Николай Праздничков, родственник Александр Борисов. У пышущей печки-голландки, сложенной хозяином, прихлёбывали чай и обсуждали хозяйственные заботы. Последнее слово оставалось за председателем – он всегда избегал поспешных необдуманных предложений.

⁶ ИАОО, ф..214, оп.1, д. 1207, 34 лл.

Крушение

Дед не успел укрепиться на новом поприще: насильственная коллективизация смела его успешные начинания. Весной 1929г. тозовцев заставили вступить в колхоз и обобществили их имущество. Кутузов подчинился и отвел угрозу раскулачивания от семьи, но его независимый нрав проявился в полную силу. Он пришел в райком партии и со словами: «Не за это мы воевали», – сдал партбилет. Мне понятно: мой дед, как один из вдумчивых и совестливых тружеников, пережил глубокую личную драму – крушение веры в справедливую народную власть. На его глазах его родная партия организовала избиение и ликвидацию лучшей части сибирского крестьянства – с этим он смириться не мог.

В районе разворачивалось колхозное строительство, и поступок деда временно оставили без последствий: понадобился его огромный хозяйственный и организаторский опыт. Петра Андреевича назначили десятником в Крутинский райземотдел, и за несколько лет он построил в селах и деревнях десятки амбаров, складов, мастерских, коровников. Открыли первую МТС и снова обратились к Кутузову, поставили мастером по ремонту сельхозтехники.

Гром грянул в 1934 году. В один из ноябрьских дней дед пошёл в контору МТС и домой не вернулся. Никто из местных не знал, куда он пропал, только догадывались: должно быть, поплатился за смелый язык. Бабушка была в смятении; у неё на руках осталось двое малолеток, а старшие дети учились в городе. Она немедленно отправила письмо в Омск и вызвала Наталью домой. В то время студенты строительного техникума работали в совхозе на уборочной и получали в сутки по 600 граммов овсяного хлеба с миской похлёбки. 1 декабря в совхоз прислали машину и повезли молодежь на траурный митинг. Так мать узнала сразу две печальные новости: об убийстве Кирова и аресте отца. Она жила в общежитии на Тобольской, рядом с городской тюрьмой, и не раз ей приходила мысль: может, и отец томится там? Преподаватели настойчиво уговаривали девушку остаться в техникуме: «Ты способная, Ната, тебе учёба даётся легко, с твоим характером ты далеко пойдешь». Но мать бесповоротно решила ехать домой.

В Крутинке ей предложили закончить курсы учителей в Исилькуле и работать в школе колхозной молодежи. Предложение устраивало семью, и мать согласилась. С путевками РОНО две подруги, Наташа и Маша, отправились в Омск. На вокзале предстояла пересадка на поезд до Исилькуля. Маша заняла очередь в кассу, а Наталья сидела на чемоданах и разглядывала разношерстную толпу. На её глазах открылась дверь, и в зал ожидания вошёл отец с узелком в руках. «Ты что тут делаешь?» – спросил он, и тотчас договорились вместе возвращаться домой.

По дороге, в поезде до Называевска, отец рассказал дочери, как на допросах пытались выбить из него признание в антисоветской агитации, но он держался стойко, отверг все обвинения и предлагал вызвать свидетелей из Крутинки. Надежды не было никакой, каждый день из камеры выкликали заключенных, и они исчезали бесследно. Наконец он услышал: «Кутузов! С вещами на выход». Попрощался с такими же бедолагами и пошел за конвоиром. Его доставили в кабинет следователя, и тот впервые обратился по имени-отчеству: «Петр Андреевич. Мы решили отпустить вас домой». – «Этим не шутят, – воскликнул Кутузов. – Зачем вы так, гражданин следователь?» – «Почему не верите, Петр Андреевич? Мы установили, что вы действительно не виноваты. Время сейчас сложное, мой вам совет: уезжайте куда-нибудь подальше». Деду вручили документы и деньги на дорогу. До конца жизни он был уверен, что вышел на свободу благодаря порядочности следователя и заступничеству односельчан: ни один из них не сказал дурного слова об арестованном

Кутузовы быстро распродали имущество, начальник почты снабдил их адресом родственников, и зимой 1935 г. семья выехала на Кубань. Купили домик в станице Ладожская, дед

устроился жестянщиком в местный совхоз. Жили скудно, как все станичники: зарплату задерживали по 2—3 месяца, за хлебом выстаивали длинные очереди. Сын Евгений прислал письмо. Он работал в редакции Усть-Канской газеты и звал родителей на Алтай, где жизнь была более обеспеченная. Так и сделали. Дом продали и получили комнату в Ойрот-Туре. На Кубани осталась одна Наташа, которая поступила в педагогическое училище. Когда Женю перевели в Онгудай, то за ним последовала и семья: отец, мать, Нина и Георгий.

Наступил 1937 год, по стране катился вал репрессий против «врагов народа». Беда вломилась и в дом Кутузовых: органы НКВД арестовали Евгения и по этапу переправили на родину, в Омск. Отношение к семье Кутузовых резко изменилось: на них смотрели подозрительно и сторонились, деда уволили из школы, где он работал учителем труда. Не оставалось ничего другого, как снова бросить насиженное место и вернуться на Кубань к старшей дочери. В 1938 г. мать успешно закончила Усть-Лабинское педучилище и была оставлена в базовой образцовой школе им. Ленвнучат. Арест брата не отразился на ее положении. В 1940 г. энергичную и способную учительницу избирают первым секретарем райкома комсомола, через год она становится кандидатом в члены ВКП (б). Дед устроился на работу в ремонтные мастерские колхоза им. Потольчака, на выделенной земле он построил свой последний дом.

Нападение гитлеровской Германии и начало войны вызвало у деда чувство обреченности. Он хорошо знал врагов и по мере их наступления все чаще высказывал тревогу: «Как бы нам, мать, под немцем не оказаться. Никого не пощадят». Предчувствия сбылись полностью. При оккупантах подняли голову раскулаченные и устроили земельный передел: Кутузовы, как и другие станичники, лишились своего участка. Петра Андреевича начали таскать на допросы и допытываться, где скрывается дочь-коммунистка. Голод, издевательства и нравственные страдания сломили организм старика. Он умер осенью 1942, не дожив до освобождения.

Оккупация

Немцы принесли в станицу страх и голод. Кутузовы сидели взаперти, печь едва протапливали огородным бурьяном, ели жмых и мороженую свеклу, дрожали в ожидании регулярных налетов грабителей-полицаев. Осмелевшие соседи из раскулаченных сразу отрезали в свое пользование двор и сад, а Кутузовым выгородили для входа и выхода узкую тропу.

Новые тревоги и опасения за младшую дочь овладели бабушкой, когда в ее дом поселили немецкого офицера Отто. Станица была сильно разрушена, и всё подходящее жилье немцы взяли на учет. Постоялец кое-как объяснялся по-русски и пытался заговорить с Ниной, но она отмалчивалась. Однажды из управы заявили полицаи и потребовали, чтобы девушка вышла на рытье окопов. Отто был рядом и объявил прибывшим: «Дочь хозяйки обслуживает германского офицера и освобождается от трудовой мобилизации». Его заступничество удивило мать и дочь, они решили, что за этим кроется мужской расчет.

А Отто становился в разговорах все смелее и откровеннее. Он признался Нине, что ненавидит войну и не хочет воевать. До войны немец работал инженером-строителем, любил стариков-родителей и мечтал вернуться домой. Вежливый и предупредительный, он предлагал женщинам еду, заставлял денщика помогать по хозяйству, никогда не просил об услугах. Нина настолько расхрабрилась, что стала спорить и возражать квартиранту. Бабуля не находила себе места: мало ли, что у фрица на уме, ведь он – враг.

В январе 43-го Нина столкнулась на улице с бывшей комсомолкой Шуркой Колядой. Проходя мимо, та шепнула: «Спрячься, тебя хотят расстрелять». Нина помчалась домой и с порога крикнула: «Мама, что мне делать!?!» Догадались сразу: Шурка зря пугать не будет. Она давно спуталась с немцами и служила машинисткой в комендатуре, через ее руки проходили все приказы и списки на ликвидацию. Значит, дома никак оставаться нельзя. Мать собрала теплую одежду, узелок с едой и на заре проводила дочь в степь. Там, в соломенных скирдах, Нина и ее подруга Лида Кашлатая скрывались две недели. Ночами пробирались домой, запасались скудной пищей – и снова в степь. А полицаям и офицеру бабушка сказала, что дочь ушла с подругой на хутора и где находится – не знает. Впрочем, оккупантам было не до поисков. Фронт неуклонно приближался к станице, и немцы начали поспешную эвакуацию.

В ночь на 1 февраля 1943 бабушка услышала осторожный стук в окно: «Кто?» – «Свои, мать, открой». Открыла и увидела красноармейцев. «Мы разведчики. Немцы есть в станице?» Услышав ответ, порадовали: «Завтра наших ждите». Бабушка обняла солдата и заплакала. Через два месяца с частями 7 стрелковой бригады в Усть-Лабинскую вернулась мать и провела краткий отпуск в родном доме, разграбленном вплоть до сковороды и утюга.

Прежде всего, мать восстановила справедливость. Перемахнув через плетень, она нагрянула к соседям, выхватила из кобуры пистолет и срывающимся голосом крикнула: «Прибыю сволочей! Вы что издеваетесь над старой и малой?» Муж и жена повалились ей в ноги, а она, охваченная гневом, с круглыми глазами, выпалила: «Чтоб за полчаса поставили забор на место!»

Бабушка знала вспыльчивый характер матери и испугалась за жизнь соседей, но обошлось без крови. Через 3 дня снова прощались. Мать получила назначение на Воронежский фронт, вскоре уехала на учебу Нина, и бабушка осталась ждать дочерей и сына Георгия, служившего на Дальнем Востоке.

Бабушка

Бабушка пережила мужа на 30 лет. Она отбросила всякие мысли о новом замужестве, после войны продала дом, поделила деньги между детьми и всецело отдалась воспитанию внуков. Первым был я, потом появились мои двоюродные сестры Нина, Люда и брат Борис. Успела бабуля познакомиться и первого правнука Олега. До последнего часа она усердно справляла домашнюю службу – мелочную, утомительную и всеохватную, мало кем из близких ценимую. Ее, не спрашивая, срывали с места, вызывали телеграммами, и она, в один день собрав пожитки, спешила из одной семьи в другую. А в награду нередко слышала попреки и ворчание. Не раз я оспаривал ее по пустякам и только позднее понял, сколько незаслуженных обид она безропотно приняла от нас, как обходили ее вниманием и заботой. И все же именно я был ее любимый внук, именно со мной она без колебаний соглашалась ехать и жить, и наши разговоры никогда не ослабляли взаимной привязанности и преданности.

Нельзя сказать, что бабуля всегда была добродушная и бессловесная «божья коровка». Она прямо выражала свои мнения, давала советы, не скрывала недовольства. И если к ней не прислушивались, отмахивались, бабуля говорила: «Ну, хорошо, пусть будет по-вашему», – и уходила в себя, замыкалась, продолжая исправно тянуть свой воз. Она не опускалась до злословия и кухонных ссор, с врожденным достоинством выходила из семейных неурядиц и всем своим обликом давала почувствовать домашним их неправоту.

Как и дед, она не переносила пустословия, уличных пересудов, не сидела на лавочке с подсолнечной шелухой на губах, сторонилась болтливых соседей. Возвращаясь с работы, я застаивал её с романом в руках: до последних дней она обходилась без очков. Любимых Толстого, Шолохова, Лескова знала досконально, несколько раз перечитывала Гончарова и Мельникова, из зарубежных ценила Стендаля и Флобера. Бабуля мгновенно погружалась в мир вымысла, взаимоотношения героев и судила о них удивительно кратко и метко: «Ну, этот больно простоват – быстро одурчат. Отпетый мошенник и негодяй, наплачутся от него. Хороша, да умом обижена, разве что у мужа займёт». Однажды я повёл её в театр. Исполняли Шестую симфонию, и я опасался, что бабуля заскучает, не высидит положенного времени. Как я ошибся! Она внимательно, неподвижно слушала весь час. «Понравилось?» – спросил я, когда выходили из зала. «А ты думал, что я совсем деревянная? Такая жалость взяла – чуть не заплакала». Моя старушка никогда раньше не была в симфонических концертах, я ничего не объяснял, а она просто и ясно выразила суть последнего шедевра Чайковского.

У неё был ровный и спокойный характер, рядом с ней возвращалось то примирительное расположение духа, которое делает человека щедрым и отзывчивым. Она легко, с первых слов, обаяла незнакомых людей. Едва устроилась в моём купе турпоезда рядом с фотографом Николаем Ивановичем, как тот принялся её потчевать и снимать на память: «У тебя не бабка, а подарок. Напомнила мою покойную мать». В Сочи она распивала чай под инжиром с моей квартирной хозяйкой и рдела от её похвал: «С тобой, Мария Ивановна, часы, как минуты, бегут. Оставайся у меня навсегда». В Лакинке, под Владимиром, мы жили с ней у Мироновны – подслеповатой, толстой и неповоротливой старухи. Когда она, переваливаясь, ходила по дому, скрипели половицы и колыхалась в ведрах вода. Как-то после смены мы сидели за обеденным столом, и Мироновна, уплетая пышные бабулины пироги, призналась: «Я, Игорёк, совсем забросила хозяйство, к печи не подхожу. Твоя бабушка и кормит, и поит меня. Давеча пошли в сад – всю малину обобрали, а в прошлом году я к ней и не притрагивалась. А уж чистюля – таких поискать. Соседки завидуют, спрашивают: где ты такую старушку купила?» Я познакомил бабулю с Ритой, и они сразу потянулись друг к другу. Надо было видеть, с каким удовольствием разговаривали, как тепло прощались, и каждый раз при встречах Рита просила: «Не забудь передать привет бабушке».

Чувство юмора позволяло ей подмечать неистощимый комизм жизни и смягчать её печальные минуты. Нередко мы по очереди вспоминали характерные словечки знакомых людей, вроде: «Вовик, иды варэники исты» или «Чуить кошка, чью мясу зыла». И бабулей овладевал такой приступ тихого смеха, что из глаз брызгали слёзы. Она вытаскивала из рукава платочек и, продолжая заливаться, долго и безуспешно пыталась осушить обильную влагу. Такая же привычка была и у матери. Неожиданно за столом они извлекали из прошлого Алёшу Варакина, крутинского мужика, и в его деревенской манере вели разговор: «Ты чо же это, дева, сахар таскашь да таскашь? Гляди-ко, я с одним куском пятау чашку допиваю. – Ложись-ко ты дрыхнуть, дева, карасин, чай, не из колодца таскам».

В последние годы на её сердце легло материнское горе: паралич разбил сына Георгия, Гошу. Участник войны с Японией, танкист, был он искусный механик и без труда устраивался на работу в любое место. Гоша вел жизнь легкую, подвижную. Семейей не обзаводился, колесил по стране и задерживался там, где хорошо платили. На Геленджикском молочном заводе ему понравилось, и он работал здесь несколько лет. Мы с бабулей были у него в гостях, и его добрая, приветливая гречанка Маша закармливала нас густыми сливками и варениками со сметаной. Дядя не изменил своих правил, оставил и эту женщину, так приглянувшуюся бабуле. Внезапный удар сделал его инвалидом: он потерял речь и с трудом ходил, опираясь на трость.



Мать выхлопотала брату 12-метровую комнату в общежитии, мы с бабулей привели её в порядок, и Гоша зажил в одиночку. Бабуля навещала сына каждую неделю, стирала и готовила, часами слушала его невнятное бормотание. Дядя скучал и долго не мог смириться с новым положением, раздражался по всякому поводу, размахивал тростью и всё время пытался что-то доказать. Увы, безуспешно, только мать понимала временами смысл его излияний и переводила на обыкновенный человеческий язык. Иногда дядя захаживал к нам, и я развлекал его чтением смешных рассказов Чехова, Зощенко, Шишкова – он хохотал до красноты на лице, до полного изнеможения. Он был благодарен за такую поддержку и нередко поджидал меня после экскурсии на скамейке площади Героев. Я задавал обычные вопросы, он кивал головой, что-то одобрительно мычал, и мы медленно продвигались к его унылому жилищу.

Второй удар свалил дядю бесповоротно, и его положили в дом инвалидов. Только мать не забывала сына. Как по расписанию, она являлась к нему после завтрака, сидела у постели и молчаливая возвращалась домой. Похоронили Гошу на казённый счет, тихо и незаметно. Бабулю известили, когда она пришла на очередное свидание. Она никогда не узнала, где и когда погиб её первый сын Женя. С последним, Георгием, она простилась на могиле.

После университета я собрался к матери в Омск и позвал бабулю. Она отказалась: «Не хочу жить с Натальей, у неё характер тяжелый». Напрасно я уговаривал и напоминал, что характер тяжелый, но отходчивый – бабуля стояла на своём: «По всякому пустяку заводится и кипит. Нет, Игорёк, поезжай один. Я тут доживать буду». Через год, в апреле 1973, мать получила от сестры тревожную телеграмму: «Мама очень тяжёлом состоянии, необходимо твоё присутствие, обязательно приезжай». Мать немедленно вылетела в Новороссийск. Оказалось – на похороны.

Родители

Начало войны застало мать в Геленджике, среди слушателей партийной школы. Её стихотворение 1941 года точно передаёт настроение молодёжи в то незабываемое время.

*На митинге я заявила,
Что добровольцем ухожу.
За мать-отчизну дорогую,
Коль надо, голову сложу.
Все комсомольцы закричали:
«Ура! Мы все идём на фронт!
Коль наш вожак туда – мы тоже,
Мы с ней нигде не пропадём».
И разобьём фашистов- гадов,
Пусть знают это все они!
Вон вас, непрошенных поганцев,
С Советской праведной земли!*

В декабре 41 мать вступила в ряды партии, и её направили на курсы Красного Креста. Летом 42 немцы вторглись на Кубань. 5 августа с отступающими частями 383 стрелковой дивизии Наталья оставила Усть-Лабинскую. С удостоверением хирургической военной сестры её зачислили в батарею артполка, и она принимает участие в тяжёлых боях за ст. Белореченскую: там была предпринята безуспешная попытка сдержать наступающего противника. Потом был 488 отдельный медсанбат и борьба за жизнь раненных. Осенью мать заканчивает краткосрочные курсы младших политруков. Изучала огневую подготовку, штыковой бой, тактику и после учёбы заняла должность секретаря политотдела 7 отдельной стрелковой бригады в составе войск Туапсинского оборонительного района. Она обрабатывала и сводила воедино донесения из частей, подразделений и передавала их секретной связью по инстанциям, принимала ночью по радио сводки Совинформбюро, размножала и направляла в каждую часть для политработников. Замещая убитых товарищей, политрук Кутузова не раз первой поднималась в атаки и увлекала за собой красноармейцев. Бои под Туапсе шли жесточайшие, враг любой ценой стремился прорваться в Закавказье.

В обороне Туапсе 7 стрелковая бригада понесла огромные потери, и её остатками весной 1943 пополнили 23 стрелковую дивизию. На Воронежском фронте мать выполняла обязанности заместителя командира санроты по политчасти, а затем комсорга медсанбата. После упразднения в армии института политруков Наталью откомандировали в 73 гвардейскую стрелковую дивизию и назначили зав. делопроизводством штаба.

Дивизия сражалась на Курской дуге, на землях Украины и Молдавии. Мать знала подробности каждого боя, всех отличившихся воинов и нередко писала письма родственникам погибших. Через её руки проходили приказы, докладные, донесения; она вела строгий учет и следила за сохранностью документов. Регулярно проводила политзанятия в комендантском взводе штаба дивизии, разъясняла директивы ставки. Лейтенант Кутузова детально изучила канцелярскую работу. Командир дивизии генерал Козак, дважды Герой Советского Союза, поручал ей редактировать документы и, собираясь диктовать, усаживал за машинку.

В штабе дивизии мать встретила мужчину, которого горячо полюбила. Это был майор Филимон Рудой, её начальник. После войны он вернулся в Гродно, к семье, и надежды матери на замужество не сбылись. Я знаю отца только по фотографии военных лет. Рядом с подтянутыми, молодцеватыми сослуживцами стоит в расслабленной позе, положив левую

руку на ремень, уже немолодой, высокий черноволосый мужчина с нераскрывшейся улыбкой на усталом лице. А был старше своей подруги всего на 3 года.

День Победы гвардейцы встретили в Австрии, оставив позади Болгарию, Румынию Венгрию, Югославию.



Мать и отец – офицеры штаба 73-й гв.
Сталинградско-Дунайской стрелковой дивизии.
Венгрия, 1944

Через пол-Европы мать воротилась домой в Усть-Лабинскую к овдовевшей бабушке. Я – дитя войны и родился в конце победного года, 7 декабря. Отец знал обо мне. Осенью 46-го он без предупреждения приехал в станицу и открыл дверь нашего дома. Гостя встретила растерявшаяся бабушка и послала за матерью младшую дочь Нину. Отец подержал меня на руках, выпил стакан чаю и, оставив деньги, ушел на вокзал. Мать работала тогда в райотделе милиции. Она отпросилась у начальника и, взволнованная новостью, устремилась домой. «Где Филя?» – крикнула она с порога и помчалась на вокзал. На её глазах поезд скрылся за поворотом. Лишь через 10 лет после войны мать вышла замуж: всё верила, ждала. Отец умер на родине в начале 80-х; мать узнала об этом от боевых друзей.

Мать

Война сильно отразилась на матери: она стала нетерпимой, властной, в голосе появились командирские ноты. В гневе она не знала удержу, доставалось правым и виноватым. Её постоянно снедал внутренний огонь неудовлетворённости и беспокойства, она пытается устроить личную жизнь и бросается из одного конца страны в другой. В 1947 году она уехала на Алтай, в Бийск, а через два года вернулась в Усть-Лабинскую. Потом выезжала в Бикин Хабаровского края, в Уфу, родную Крутинку, Тайшет. В 1968 мать продала большой дом в Новороссийске и навсегда уехала в Омск. Она не посчиталась с тем, что я продолжал заочно учиться в университете, и мне пришлось три года скитаться по чужим углам.

У матери с детства пробивался мужской характер. Росла бедовой, озорной, была заводилой и вожакom уличных команд, грозой сельских садов-огородов. Её неизменно выбирали дружинным барабанщиком, и на всех сборах, построениях, маршах она первой запевала любимую «Песню о юном барабанщике»: «Средь нас был юный барабанщик, В атаках он шёл впереди С весёлым другом-барабаном, С огнём большевистским в груди». Думаю, что мужское волевое начало помешало матери найти личное счастье: не мужчины выбирали её, а она выбирала мужчин.



Мать, начальник лагеря ст. пионерских вожатых при базовой начальной школе, принимает рапорт. Усть-Лабинская, 1952 г.

Мать не отказывалась от руководящей работы и временами возглавляла городской Дом пионеров, районный методкабинет, учебную часть санаторно-лесной школы, однако призвание нашла за учительским столом. У неё были незаурядные организаторские способности, она сразу вникала в суть дела, умело распределяла кадры и средства, изобретательно и настойчиво преодолевала трудности. И знакомые, и сама она не раз выражала уверенность, что выведет бы в передовые любой колхоз, завод, стройку. Её останавливала необходимость опираться на подчиненных, работать в коллективе, где каждый выполняет часть общей работы. Будучи крайне ответственной и самостоятельной (даже лужи обходила не так, как другие), она не любила перекладывать и делить свои обязанности с другими. Ей всё казалось, что сама она сделает быстрее и лучше кого бы то ни было. Видеть чужую беспомощность, равнодушие, небрежность было для неё сущей пыткой, и когда ей советовали: «Поручи выставку Вере Андреевне», – она решительно отвечала: «Это все равно, что провалить. Я сама». И надо признать, ошибалась редко. Зато не скрывала одобрения, если видела добросовестное исполнение: «Молодец, я бы и сама так сделала». Помимо всего, она была врагом кабинетных сидений, бумажного творчества, бюрократической круговерти. Жизнерадостный, кипучий уклад школы, дети с их доверчивостью и пытливостью были для матери благодатной средой, и она рано поняла, что только

в школе осуществит без помех свои намерения и планы. Здесь она была независимой и могла единолично учить, воспитывать, распоряжаться.

Её педагогический талант был ярким и всесторонним: тонко разбиралась в детской психике, ясно и образно учила, твердо и последовательно добивалась поставленных задач. Я сидел на её уроках как ученик, как наблюдатель и всегда удивлялся живости и сообразительности её учеников. Их не надо было тормозить и заставлять, они с удовольствием втягивались в работу и наперегонки выполняли заковыристые задания. «Научить можно и черепаху – измором и терпением, – говорила мать. – А ты научи легко и интересно – вот где мастерство». И действительно, многие её коллеги давали хорошие знания, но какой ценой! Многократным повторением, огромной затратой времени и сил; на их уроках висела тяжелая скука и бдительный надзор. Мать знала множество приемов, способов, игровых упражнений, которые делали грамматику и арифметику увлекательным занятием. Цепочкой безошибочных и точных вопросов она вплотную подводила ученика к новому знанию, правильному ответу, и у ребенка возникало убеждение, что он сам совершил открытие, сам добился успеха.

Её ученики неизменно выходили победителями на всех смотрах и конкурсах. Александра Владимировна, моя учительница, не раз говорила матери: «Твой троечник у Серафимы или Зои был бы отличником». Так и происходило: троечники матери, переходя в средние классы, начинали получать более высокие оценки.

С первых минут в первом классе дети чувствовали, что перед ними «настоящая учительница» и безоговорочно признавали за ней право учить и требовать. Не признают – и все старания пойдут насмарку, самый умный наставник делается мучеником профессии. Мать быстро покоряла самых трудных подростков и делала их верными друзьями. Была в ней та врожденная сила непререкаемости, которая, помимо приказов, настраивает детей на сотрудничество и шаг за шагом спланирует с учителем. Помню, в старших классах учителя во всех падежах склоняли «хулигана Мухина». Мать пожимала плечами и недоумевала: «У меня он был один из примерных, всегда работал». В 1981 она повезла группу моих школьников из Юрьевки в Севастополь. Восьмиклассница Наташа Бурлачко прислала мне письмо-отчет, и я узнал, что в поезде в течение 3-х суток «Наталья Петровна не давала скучать: в каждом купе выпускали стенгазеты, проводили политинформации, решали задачи на смекалку, пели, встречались с интересными пассажирами и по очереди дежурили. В Севастополе директор гостиницы объявил нам благодарность как самой воспитанной и аккуратной группе».

Мать никогда не рвалась в «новаторы», не подхватывала «почины», не демонстрировала «современные методы» и «передовой опыт». «Вся эта шумиха от растерянности и бессилия, – разгадывала она очередную кампанию. – Дурака не научишь, как портит детей, так и будет калечить. А способный и думающий сам найдет свою дорогу». И теперь, наблюдая вал всевозможных «инноваций», «презентаций», «супертехнологий и методик», я вспоминаю мать и усмехаюсь. В лучшем случае – забытое и восстановленное из практики старых учителей, то, что называют «развивающим обучением» (а как учение может не развивать? тогда оно зубрежка и обман). В худшем – сценическая эквилибристика, как на конкурсах, натаскивание на тестах, программирование и типовое оболванивание, умение нажимать нужные кнопки. А считать, сочинять, мыслить совсем разучились.

В классах матери всегда толпились студенты, и перед уроками она давала последние указания: «Стишок пусть прочитает Хватов, а задачку решать вызови Студникова. Не забудь карту открыть и поставить вопросы». Учебная практика переходила в воспитательную и досуговую в летнем лагере при базовой школе: мать сама добилась его открытия и 4 года была начальником. Показательные уроки, утренники, праздники были для неё наслаждением, тут она разворачивалась в полном блеске. Её охватывало творческое возбуждение, волнение передавалось классу, учитель и дети словно соревновались в находчивости, остроумии, богатстве знаний. Уроки щедро оснащались наглядными пособиями, мать сама их придумывала и мастерил.

Целый домик-временка в Новороссийске был загружен её поделками, они хранились в папках, коробках, висели на перекладине, а мать продолжала вырезать, клеить, чертить.

В 1973 году мать вышла на пенсию и с присущей ей страстью занялась общественной деятельностью. В качестве секретаря Омской секции Советского комитета ветеранов войны, куда её позвал полковник Сальцын, она объездила всю область, выявила женщин-фронтовичек и объединила их в Клуб боевых подруг – один из первых в стране. Она сама писала сценарии для заседаний клуба, привлекала известных артистов и людей с положением и делала это с большим мастерством, вполне профессионально. Её рабочий день был загружен до предела: приёмы ветеранов, семинары, конференции, слёты, встречи и выступления в гарнизонах, школах, вузах, училищах, поездки в районы. Она была Почётным юнармейцем поста № I у Вечного огня, шефствовала над профтехучилищем №4, школами 78 и 101, открывала залы боевой славы и школьные музеи. Ей нравилось быть в центре внимания, слушать благодарности, видеть признание своих трудов, и ради этого удовольствия мать не щадила здоровья и душевных сил. Но её до глубины возмущало, когда выдвигали в первые ряды и публично расхваливали людей недалёких, инертных, но угодливых и ловких, тех, кто любил сидеть в президиумах и красоваться на разных торжествах. В этих случаях мать не скрывала недовольства и в глаза высказывала пролазам всё, что накипело. «Зачем ты поссорилась с Раисой Павловной? Зачем задела Николая Васильевича?» – «Как я могла промолчать? Привыкли чужими руками жар загребать и думают, что остальные ничего не видят», – отвечала мать и не собиралась себя сдерживать, наживала недругов. Поскольку обойтись без неё было трудно, ей прощали такие выходки и ограничивались временным замалчиванием, преуменьшением заслуг. Отыгрались после смерти: как будто не знали, не слышали. Мать наладила связи с однополчанами и записала их воспоминания, побывала на местах сражений в Волгограде, Белгороде, Новороссийске, на Украине, в Молдавии, Болгарии и Югославии. Восхищенный целеустремлённым обликом «русской Натальи», болгарский скульптор Георги Тошев изваял в мраморе её лицо. Она вела обширную переписку, телефон не умолкал с утра до позднего вечера. В последние годы она отказывала себе даже в маленьком удовольствии «переброситься в картишки» с соседями-стариками. Словно предвидела близкий конец и торопилась.

Раннее

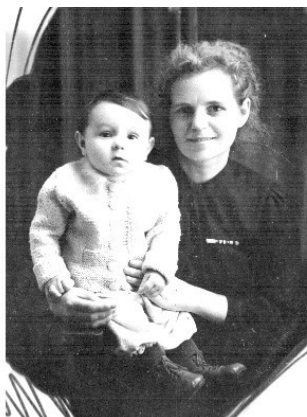
В жизни есть только детство, всё остальное – памятник детству или могильная плита. Встречаю бывших учеников: крутолобые, коротко стриженные бычки в обнимку со смелыми подружками. Как быстро они переняли стандарты взрослого общества: одежду, манеры, язык, потребности... А я вижу застенчивых, озорных, смышлёных, робких, драчливых, осторожных, нетерпеливых – всяких, но всегда вне привычек, условностей, заданности: бурное море с множеством встречных, холодных и тёплых, течений, ещё не успевшее заполнить донные щели и впадины. Куда всё это уходит, почему нет продолжения, и маленький человек точно падает в предназначенную ему лунку? Значит, это неизбежно. Взрослые дети смешны, но и притягательны.

Могу ли я забыть детство? «Детства день, до гроба милый, Детства сон, что сердцу свят...» Как в хорошей пьесе, оно было моим первым действием. Убери, вырежи начало, и всё остальное рассыплется, продолжения и конца не последует, останутся одни обрывки, эпизоды. А чаще всего – начинается новая пьеса.

Как объяснить избирательность детской памяти? Мне 3 года. Каждое утро бабуля упаковывает меня в толстое ватное пальто и выводит за порог. Оставшись один, я иду на запах хлеба. Из маленького оконца по деревянному жёлобу скользят окутанные паром румяные кирпичи. Дюжие мужики подхватывают их и укладывают рядами на решётки.

Стою в отдалении и жду, когда загруженный фургон развернётся и уедет. Тогда всё моё. Ах, сколько хрустящих золотистых крошек! Можно замести их горкой, и отправлять в рот шепот за шепотью. Какое наслаждение!

На материном столе рассматриваю книгу с рисунками. Одни, «хорошие», пролистываю, другие почему-то не нравятся, вызывают отвращение. Приговаривая: «Бяка, злой, плохой, брысь!», – я перечёркиваю страницы красным карандашом, решительно вырываю и швыряю на пол. Расправа с неугодными рисунками длится до прихода матери. Увидев усыпанный белыми клочьями пол, она хватается за ремень и непритворно стегает меня по рукам. Я не понимаю: за что? – и пулей вылетаю в кухню под защиту бабули. Мать – за мной. Она пытается достать меня на руках бабули, но та ловко увёртывается, уклоняется и принимает удары на себя. Приступ материнского гнева длится недолго, через полчаса я прощён.



Первая фотография.
Усть-Лабинская, 1946

Вырос на старушечьих руках, берегли и лелеяли старушечьи руки. Было 5 лет, когда мать, после нескольких переездов, сняла половину в чистом глинобитном домике вдовы Ильиничны.

Я сразу ощутил перемену, Ильинична заменила мне отсутствующую бабулю. Утром она будила прикосновением тёплой ладони и вела к умывальнику. Потом наливала молока и подсовывала пахучий пирожок. В огороде старушка усаживала меня на скамеечку рядом с собою и показывала, какие травки следует удалить с гряды, приговаривая: «Не торопись, внучек, постарайся, гляди зорче, ну-ка, помоги, сядь поближе...», – одаривала то морковкой, то огурцом, то горохом.

За обедом на столе появлялся дымящийся чугунок, и мне наливали миску багряного борща, заправленного старым ароматным салом. Такого борща я больше ни у кого не ел. После обеда Ильинична укладывала меня спать во дворе под старой акацией, и я, уже засыпая, чувствовал, как она осторожно накрывает моё лицо марлевым пологом. Вечером, до сумерек, я по её просьбе – «Порадуй старуху, внучек» – громко, по складам, читал басни Крылова или слушал рассказы про дедушку Леонтия – казака, убитого, по словам Ильиничны, «супостатами».

Завершался день в мягкой постели, откуда видел крохотный огонёк лампы и устремлённый на него взор старушки. Простоволосая, в длиннополой ночной сорочке, она стоит на коленях, бьёт поклоны и внятным строгим шёпотом нанизывает на невидимую нить: «В руке твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой. Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь».

Прошло лето, мать снова затеяла переезд. Ильинична проводила меня за ворота, осенив на прощание широким крестом.

Сказка

Я услышал сказки на четвёртом году, в Бийске, где мы прожили больше 2-х лет до возвращения на Кубань. Утром мать уходила на работу в Дом пионеров, бабуля принималась за кухню, а я выдвигал из-под кровати картонную коробку с игрушками. Ватный заяц, облезлый плюшевый мишка, деревянные кубики, пирамидка с разноцветными колёсиками, набитые опилками шары на резинках... что ещё? Как-то мать принесла помятую гремящую юлу, и я тотчас запустил её посреди комнаты. Я любил свои старые заслуженные игрушки и подолгу играл без усталости и изобретательно. То заяц с медведем устраивали борьбу, то возносилась башня, увенчанная пирамидой, то шарики поражали разноцветные мишени... Через несколько часов напряженной возни словно бесёнок подбрасывал меня с полу, и я, с зажатыми в руках зверями, начинал носиться по комнате. Бабушке со мной было сущее наказание. Я врвался на кухню и хватал то ложку, то скалку, то стакан. Чтобы отвлечь меня от беготни, она начинала какую-нибудь сказку. Вымешивает тесто, чистит картошку, режет лук и между делом приговаривает: «Ловись, рыбка, и мала и велика. Козлятушки, ребятушки, отопритесь, отомкнитесь. Петушок, петушок, Золотой гребешок...» Сказки были простые, незатейливые и повторялись изо дня в день. Но я не скучал и не привередничал, а сразу включался в действие: бабуля начнёт – я продолжу, она одну строчку – я другую. Волшебных и авантюрных сказок бабуля не любила и уступала лишь под моим натиском. «Да ну их, – отмахивалась старушка, – уж больно просто там всё выходит. Взмахнул платочком, раскинул скатерть-самобранку – и любое желание тут же исполняется. Нет, Игорёк, пока сама печь не растоплю, ничего у нас с тобой не будет».

Мы так увлекались, что не замечали стрелок на кухонных ходиках, и только приход матери возвещал, что наступило время обеда. Ел я вяло, неохотно, потому что давно был сыт: первый блин, первый пирог доставались мне, и я с набитым ртом то выбегал, то возвращался и в порыве любви обнимал бабулины колени. И она, лучезарно улыбаясь, спрашивала: «А какое слово надо сказать, внучек?» – «Ещё, дай ещё!» – «Нет, проказник, есть другое слово. Ты разве забыл?» – «Какое слово? – притворялся я. – Не знаю никакого слова». Бабуля в этом случае откладывала нож, брала меня на колени и мягко говорила: «Давай-ка вспомним это хорошее слово». Мне только того и надо было. Я знал, что в 10-й раз услышу мою любимую сказку.

«Жили-были старик и старушка, и были у них девочка и маленький мальчик». – «Как я?» – «Как ты». Я знал сказку наизусть и нередко подхватывал продолжение, но бабуля не позволяла: «Ты же сказал, что не знаешь. Молчи и слушай». И мы бежали вместе с девочкой по полям и лесам. Всё девочка одна и одна, всё не везёт бедняжке. Ничего не замечает, никого не слышит, торопится брата спасти. Вот и избушка Бабы-яги, и сама старуха: приветливой прикидывается, доброй. А сама готовится жарить и съесть девочку с братцем. Кто им поможет, кто из беды вызволит? Тут-то и поняла девочка, что зря от помощи отмахивалась. Голос бабушки делается тёплым и одобрительным, я слышу в нём сочувствие. И замечаю, что девочку словно подменили – другой она стала. Мышку кашей накормила, речку матушкой называет, кислое лесное яблочко попробовала.

Бабуля каждый раз наставительно поясняет: «От угощения нельзя отказываться: доброго человека обидишь. Ну, ты у меня молодец, никогда не капризничаешь». – «Да», – кричу я радостно, и мы вместе приближаемся к развязке. «Какое слово сказала девочка речке?» – «Спасибо, реченька, за молочный кисель». – «Что сказала девочка печке?» – «Спасибо, печка, за ржаной пирожок». – «И за помощь, – прибавляет бабуля. – Без чужой помощи лоб набьёшь и беды наживёшь». Сказка благополучно кончается, и мы принимаемся за свои дела. Так и залегла в памяти бесхитростная сказка о слабости одиночества и спасительной силе единения.

Виталий

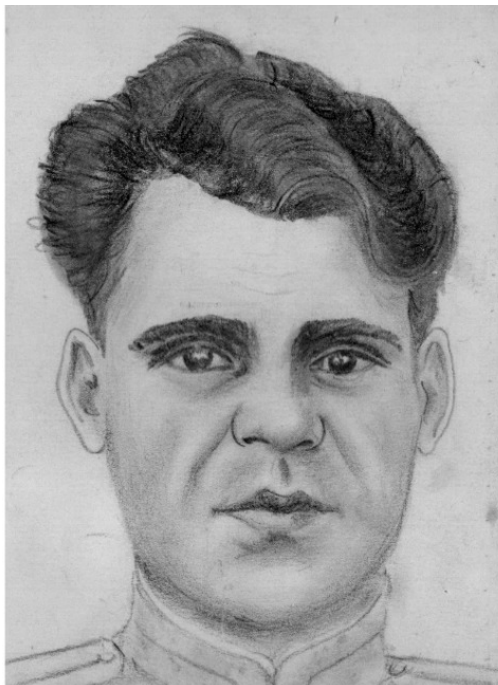
Среди детских фотографий давний рисунок карандашом на плотной желтоватой бумаге: не улыбающийся круглолицый малыш в старинном мундире с эполетами, лентой через плечо, армейских ботинках со шпорами, а на поясе вместо сабли – большой полосатый мяч. На обороте читаю: «Генерал Игорь, „Бодяга, Буляга, Гуляга“. Исполнил В. Дебеленко. 2 сентября 47г.»



Это художество Виталия – Вити, как я его называл, мужа моей тётки Нины. Отчасти он заменял в раннем детстве отца и был привязан ко мне как мужчина, мечтающий о сыне. Сын у Виталия родился довольно поздно, после двух дочерей, поэтому долгие годы я оставался его любимцем. Витя хорошо рисовал и часто с фотографическим сходством изображал моё круглое серьёзное лицо. «Хоть циркулем обводи», – шутил он не раз. В Усть-Лабинской был он заметной фигурой – офицером МГБ, занимал просторную квартиру на центральной улице, раскатывал на собственной «Победе», любил выпивку и шумные компании. И он со своей цыганской внешностью, добродушием и беспечностью нравился товарищам и женщинам. Свободного времени у Вити было много, и он с удовольствием возился со мной. «Посажу тебя на руку, а когда сниму – на рукаве золотой пяточок, – смеялся он. – Я с тобой часто на вокзал ездил, там продавали свежее пиво. Сдую пену и первый глоток подношу тебе, вскоре ты и сам запросил «пила». А однажды увидел в пивном ларьке горящую свечу – так и устался. Я объясняю: это свечка, Игорёк, свечка. А ты ручонку протянул да как крикнешь: хочу свечку! Мы едва на ногах устояли, с тех пор и прозвали тебя Свечкины.

На самом деле Витя был не Виталий, как называли его родные и друзья, а Евлампий. Совсем недавно я узнал от внука, что он родился под Ялуторовском Тобольской губернии в бедной крестьянской семье и в раннем детстве остался круглым сиротой. Его отца, организатора коммуны и секретаря партячейки, мать, сестру, брата и дядю уничтожили распалённые местью кулаки во время антикоммунистического восстания в Западной Сибири в 1921г. 7-летнего мальчика пригрели и вырастили родственники из Курганской области.

Виталий, как миллионы его ровесников, получил путёвку в жизнь от Советской власти, был горячо предан ей и защищал до последних дней. В годы войны он отстаивал Заполярье и показал себя толковым и храбрым командиром. Безупречная боевая биография открыла ему дорогу в Высшую школу контрразведки и в ряды созданного после войны министерства государственной безопасности под руководством Берии.



Евламий Дебеленко – Виталий
Автопортрет. 1947

Именно Витя внушил мне, пятилетнему мальчишке, что на противоположной стороне улицы, в большом доме под железной крышей, обитает Баба-яга. Я знал просто старушку Ивановну. Она ежедневно приходила в гости к бабуле, и они, посидев на кухне, расходились. И вдруг Витя, проводив Ивановну взглядом, ошарашил меня: «Ничего ты не знаешь, Бадяга. Ведь Ивановна – Баба-яга, самая настоящая». У меня язык примёрз к небу, я растерянно смотрел на Витю и пытался уразуметь смысл его жутких слов. «Да-да, – продолжал дядя, – сколько она малых ребяток съела, сколько косточек на огороде закопала».

Всё, что я знал о колдунье из сказок, мгновенно наложилось на облик знакомой старухи, и меня охватил ужас. Я удивился, почему Ивановна до сих пор не тронула меня, не заманила в свой зловещий дом. На следующий день, завидев вдали ковыляющую старушку, я бросился стремглав через улицу, влетел в свой подъезд и забился в чулан. Сидел долго, пока не наскучило, а когда робко вышел на свет, бабуля спросила: «А где правая галоша?» Впопыхах я обронил галошу на мостовой и ни за что не хотел за ней вернуться. Напрасно бабуля пыталась рассеять мой страх и ругала зятя, я стал упорно избегать Ивановны.

Виталий любил рассказывать, как старуха пригласила его на пельмени. Родом из Сибири, он знал толк в пельменях, охотно стряпал и особенно лепил: из его больших сильных рук они выскакивали один за другим – миниатюрные, аккуратные, совершенно одинаковые, как будто их штамповали. Конечно, Виталий без раздумий отправился в гости на любимое блюдо. Когда Ивановна поставила перед ним укутанную паром тарелку с пельменями, каждый величиной с кулак, он с сомнением покачал головой, но всё же бодро взял вилку. Потрясение наступило, когда разжевал: вместо нежной свинины и говядины с луком и перцем, пельмень был начинён ошурками. В глазах знатока такое отношение к знаменитому сибирскому блюду было кошун-

ством. А Ивановна просто понятия не имела о настоящих пельменях, она полагала, что для них годится всё, что связано с мясом.

Виталий погонял пельмень во рту, незаметно выплюнул в кулак и бросил под стол сторожившему коту. Ивановна, ничего не подозревая, поставила на стол вторую тарелку и усердно потчевала желанного гостя. «Не знал, куда деваться, – говорил Виталий. – Хорошо, что старуха не сидела на месте, продолжала варить и вынимать готовые пельмени». Спустив несколько штук под стол, Виталий поднялся: «Спасибо, хозяйка, пельмени на славу, но извини, на службу пора. Как-нибудь загляну еще разок», – и быстро вышел на улицу.

У Виталия была смешная слабость: он боялся мышей. Каждый раз, когда его просили выгнать серую нахалку, он надевал резиновые сапоги, вооружался метлой и осторожно входил в кухню. Виталий прислушивался, топал ногой и неуверенно елозил метлой под буфетом и за печью. При внезапном появлении мыши грозный оперативник проворно отскакивал в сторону и восклицал: «Чтоб ты сдохла, язви ты в душу!» Тётка и бабуля едва сдерживали смех, а я решил, что страшнее мыши зверя нет, и до сих пор смотрю на них с опаской.

Впечатления

Летом семья тетки отдыхала в приморском поселке Береговое под Геленджиком. На берегу прозрачной горной речушки я возводил из сырого песка плотины и закинул юрких проворных рыбок. На веранде большого казенного дома тетка ежедневно занималась со мной, ставила правильное произношение и добилась того, что я перестал шепелявить. За ужином бабуля ставила передо мной деревянную миску с ложкой, в обычной тарелке еда казалась мне почему-то невкусной. Заслышав выстрелы пастушьего кнута, я выбежал на улицу и тащил за рога упрямую козу. Каждую неделю в тесном прокуренном клубе смотрели кино. Витя держал меня на коленях, тормозил и давал пояснения: «Вот он, Тарзан, видишь? Смотри, как прыгает. А вот на дерево лезет. Ну и ловкач!» Из-за спин и голов я видел только непрерывное мелькание да слышал звериный рев и свист.

В сумерках в разных местах таинственного сада вспыхивали искры светляков. Мне было любопытно: как они горят не сгорая? Поймал несколько жучков и зажал в кулаке. Когда разжал, то увидел на ладони холодные гаснущие угольки.

Последнее лето перед школой я снова провел у тетки в маленьком городке Лабинске в 280 км от Краснодара. Впоследствии мне не раз приходилось проезжать по пути в техникум через Лабинск, и я узнал, что во времена Кавказской войны здесь, в Предкавказье, стояла крепость. После смерти Сталина МГБ ликвидировали, и Витя лишился золотых погон, которые так мне нравились. Его назначили заведующим мельницей, хотя никогда он не занимался ни зерном, ни производством. Мельница с плотиной стояла на Лабе, а рядом, в большом служебном доме, поселились Дебеленки. Кормов было вдоволь, и тетка держала много живности. Выходя из дома с двоюродной сестрой Ниной, мы сразу попадали в голосистое птичье царство и через стаи кур, гусей, индюков пробирались на улицу или к реке.

Меня сразу привлекла грохочущая днем и ночью мельница – одна из 17, которыми славились станица до революции как центр обширной хлеботорговли. Высокое здание казалось совершенно безлюдным, и я носился вверх и вниз с какой-то одержимостью. Иногда отодвигал заслонки и наблюдал, как по желобам струится рыхлая мучная масса. Запах свежей муки дразнил и будоражил, доставлял никогда не испытанное удовольствие. Набегавшись, я возвращался домой и выслушивал теткин упреки: «Опять весь в муке. Сколько раз говорить, чтобы не ходил на мельницу. Попадешь под жернова – сам мукой станешь». Но ее предостережения были мне непонятны.

Как-то в жаркий полдень свалился с высокого берега в мутную Лабу ниже плотины и сразу был подхвачен течением. Спасли нависающие над водой, как веревки, длинные корни, за них и ухватился, едва не касаясь подбородком кипящей поверхности. Не помню, сколько времени держался, ощущая сильные толчки и рывки. Кричать было бесполезно, шум падающей воды глушил все звуки. Меня нашла сестрица и тотчас позвала мать.

Наступали сумерки. Витя звал меня, садился за руль «Победы», и мы выезжали со двора. Он останавливался всегда на одном и том же месте, говорил мне: «Сиди и жди, я скоро вернусь», – и спускался по ступенькам куда-то вниз. Туда же входили и выходили другие мужчины, курили, переговаривались и посматривали на «Победу» с одиноким мальчишкой на переднем сиденье. Ждать приходилось долго, до ночи, но я любил Витю и точно выполнял его приказ. За это он не раз хвалил меня: «Молодец, племяш, где оставишь – там и найдешь». Дремоту прерывали хлопанья дверок и громкие голоса. Машину заполняли незнакомые мужчины, меня усаживали на колени, и Витя давал газ. Слипались глаза, тошнило от дурного воздуха, подбрасывало на ухабах.

Однажды увязли в грязной яме. Все мужики вылезли наружу и с возгласом: «Раз, два – взяли!» – стали раскачивать автомобиль. Витя развозил спутников по домам, и мы возвра-

щались на свой двор. На стук открывала тетка и со словами: «Опять нажрался», – хлопала дверью спальни. Витя покорно укладывался на диване, а я засыпал на бабушкином сундуке. Утром меня будил раздраженный голос тетки, и я видел, как дядя торопливо застегивал китель и с недовольным видом выходил из дома. Он не отбивался от жены, а вполголоса произносил любимую фразу: «Ну и вонючка. Теперь до вечера вонять будет».

Усть-Лабинская

Первые 6 лет моей жизни прошли в кубанской станице. Разумеется, тогда я не знал, что на рубеже 18 – 19 веков южная граница России проходила по Кубани, и Усть-Лабинская была сторожевой крепостью на правом берегу в устье Лабы: она прикрывала новые владения от набегов воинственных кавказских племён. Позднее крепость вошла в состав Кавказской укрепленной линии и находилась на правом её фланге. В 1818 г. командир Отдельного грузинского корпуса Ермолов осматривал линию и посетил Усть-Лабинскую. Он отметил её обширные размеры и малочисленность гарнизона.

«В крепости нет ни одного строения каменного: казармы, провиантские магазины, самый арсенал деревянные. Один весьма небольшой колодезь...» Словом, Ермолов остался недоволен: «подобные крепости не могут быть терпимы против неприятеля...» Стояли тревожные времена, гарнизон Усть-Лабинской нёс большие потери в разгорающейся кровавой войне.

Я отчётливо помню главную станичную улицу Советов – широкую, вымощенную синеватым булыжником, очень чистую и благопристойную. Да и вся станица выглядела аккуратной, прибранной и степенной. Советская начиналась от большого тенистого парка с узорной чугунной оградой и, плавно поднимаясь, выводила к железнодорожной станции. На этой улице стояла базовая начальная школа, где работала мать, кинотеатр с летней площадкой, дом семьи Дебеленко. Рядом с парком находился мой детский сад, и все наши квартиры тоже были недалеко, так что я ежедневно пересекал главную улицу один или вместе со взрослыми. Большую часть дня здесь было пустынно: редкие автомобили, редкие прохожие. Улица оживала вечером, когда станичники выходили гулять в парк и толпились у кинотеатра. Несколько раз, уплатив зажатый в кулаке рубль, я проходил в тёмный зал и с напряжённым вниманием, даже испугом, следил за превращениями неземного мира на белом прямоугольнике. Великолепный цветной «Садко», «Ночь перед Рождеством», «Адмирал Ушаков», «Джюльбарс», «Котовский», «Маленький Мук» – вот картины моего детства, и все позднейшие шедевры не смогли вытеснить их очарования. Летом, вместе с дворовыми пацанами, мы забирались на деревья рядом с летней площадкой и поверх высокого дощатого забора пытались разглядеть то, что происходило на экране. Обычно видели верхнюю половину изображения, зато звук, громкий и ясный, позволял безошибочно следить за развитием действия.

Никогда не было дома, где любят и ждут, не создал и сам. Были углы. Мать легко меняла квартиры и хозяев, не задерживалась дольше нескольких месяцев. Лучшей из квартир была та, что занимали у Любки-толстой, распушенной скандальной бабы лет сорока. Муж Любки, обыкновенный бухгалтер маслозавода, к удивлению станичников был «разоблачен», и Виталий за столом многократно со вкусом рассказывал, как арестовал «шпиона» – тихого на вид, безобидного мужчину.

Обычно Любка нагишом выходила под летний дождь и разгуливала по двору, выставив круглый тугой живот. Она встряхивала мокрыми волосами, хлопала себя по лоснящимся полным ляжкам и кричала матери: «Наташа, выходи на воздух! Не поверишь, как хорошо». Мне хотелось тоже выбежать под дождь и встать рядом с Любкой. Смущал ее облик и нескрываемое любопытство соседей. Я спросил: «Мама, а почему тетя Люба голая?» Мать замешкалась и поспешно ответила: «Так удобно. Дождик-то теплый, и платье не намокнет». Ее объяснение казалось правдоподобным, но было непонятно, почему другие люди ходят под дождем одетые. Я почувствовал, что мать не договаривает, скрывает нечто важное и необходимое. Потом это чувство только усиливалось и не оставляет меня до сих пор. Редко мне давали ясный, исчерпывающий ответ, чаще всего – что-то весьма обтекаемое и приблизительное, как будто окружающие сговорились не касаться самого главного. Со временем я понял, что в одних случаях они

сами не разбираются в смысле происходящего, в других случаях намеренно утаивают и извращают истину.

Почти каждый день Любка визгливо ругалась с матерью, такой же вздорной, капризной старухой. Через заколоченную кухонную дверь я слышал, как летели на пол кастрюли, ложки, стулья, и кто-нибудь из двух непременно выбегал на двор, приглашая в свидетели соседей. А так как ближайшей соседкой была мать, то хозяйки поочередно зывали к ней, и матери приходилось мирить их. Однажды Любка сорвала дверь с крючка, вломила на нашу половину и потребовала немедленно освободить квартиру. Впрочем, на следующий день она, как ни в чем не бывало, с лисьей улыбкой просила прощения: «Погорячилась, Наташа, нервы подвели. Ты мне не мешаешь, живи». И мать откладывала переезд до следующего наскока.

Любка часто брала меня на маслозавод за пахтой. Там всегда колыхалась возбужденная толпа, люди старались протиснуться к маленькому окошку в стене, передавали через головы пустые бидончики и банки. Любка никогда не давилась в очереди. Взяв у меня бидончик и деньги, она уходила и вскоре возвращалась с наполненными посудинами. Дома мать спрашивала: «А сдача где?» – «Тетя Люба не давала». Любка в таких случаях говорила одно и то же: «Наташа, не беспокойся. Потом рассчитаемся».

Каждую неделю к нам являлась тетя Аня, подруга матери. Долго сидела, болтала, грызла семечки, и все время поглядывала на часы. Вдруг она срывалась с места, торопливо прощалась и уходила. Бабуля позднее раскрыла мне глаза. Оказывается, у нас Аня проводила свое «рабочее» время, а на обед спешила домой. Она обманывала старуху-мать, уверяя, что работает в конторе машинисткой, и та верила дочери, нянчила внучку, вела хозяйство и кормила «работницу». У Ани было много подруг, и она переходила от одной к другой, а вечерами ее брали на содержание ухажеры. Так и жила.

Помню, как привезли и поставили в простенке черное пианино. Мать купила инструмент на деньги, подаренные отцом, и решила учить меня музыке. Два раза в неделю я ходил к пожилой Марье Филипповне: она согласилась давать уроки за скромную плату.

Высокая и сухая, она ходила быстро, наклонившись вперед. Старомодная шляпа на стриженных седых волосах, один и тот же коричневый сарафан, лицо цвета старой слоновой кости, а на нем карие, удивительно дружелюбные и понимающие глаза. Она никогда не требовала, не приказывала – только просила: «Будь внимательней, голубчик, правильно ставь пальцы».

У Марьи Филипповны было не фортепиано, а старинная, красного дерева, фисгармония с тягучим трубным звуком. Она-то и вызывала мой интерес. Во время занятий, пока я играл, учительница сидела рядом и ногами нажимала на педали. Однажды я тоже попытался надавить на педали, но свалился с табурета и больше таких попыток не делал. Иногда Марья Филипповна угощала меня самодельными леденцами. Я знал, что она торгует ими на вокзале, но не знал тогда, что плата за уроки и ничтожная выручка от торговли были единственным источником существования двух старушек. Моей учительнице запрещалось работать в учреждениях, она не получала пенсии. Ее, дочь чиновника, наказали за чуждое социальное происхождение. Эта опрятная воспитанная женщина, так не похожая на окружающих, первой разбудила музыкальное воображение, познакомила с нотной грамотой и отредактировала мои музыкальные опусы – две пьески под названием «Солнышко» и «Рыбка».

Обман

Бабуля жила в семье Дебеленко, и я часто ходил к ним в гости. Их вместительная квартира выходила в большой двор, всегда наполненный ребятей. Мы быстро перезнакомились и играли в догонялки, жмурки, классики. Обитатели ближних квартир были люди важные, с положением, вроде капитана МГБ, и мои приятели нередко выносили из дома и угощали друг друга дорогими конфетами и фруктами.

Однажды у соседей готовилось какое-то семейное торжество. Рядом с их крыльцом установили кадку, набитую льдом, и принялись замораживать мороженое. Мы столпились вокруг кадки и с любопытством наблюдали, как толстая тетка проворно вращала узкую мороженицу туда-сюда. Все с нетерпением ждали той минуты, когда тетка остановится и начнет раздавать лакомство. На этот случай каждый приготовил в руках блюдечко или чашку. И минута наступила. Женщина выпрямилась, вытерла со лба пот и крикнула: «Ну, ребятки, подходите за угощением». Один за другим счастливики разворачивались и с жадностью поглощали белую вязкую смесь. Когда я приблизился и протянул блюдце, тетка смерила меня тяжелым взглядом и сказала: «Ты разве не слышал? Тебя бабушка позвала, беги скорей». И я побежал.

Вместо мороженого, меня охладила бабуля: «Даже и не думала. Да кто послал тебя?» Я объяснил, и она понимающе вздохнула: «Ну и Зинка. Нашла на ком отыграться. Не переживай». Она дала мне рубль, и я купил мороженое в палатке у кинотеатра.

В другой раз за мороженым послала мать. Стоял безветренный летний вечер, гуляющие обмахивались платками и газетами, пили газировку. Я выстоял длинную очередь, схватил наполненные стаканчики и помчался домой. Мать взяла один и спросила: «А сдача? Я давала тебе 5 рублей». Я уставился на нее растерянным взглядом. Мать все поняла и раздраженно пристыдила: «Вот растяпа. Хоть не посылай никуда».

Так я получал первые уроки. С годами научился распознавать обман и притворство, но привыкнуть не смог. Каждый раз попадаешь в положение дурака и ругаешь самого себя: опять опростоволосился, разиня. Виновата всегда страдающая сторона. Принято осуждать не лжеца и мошенника, а его жертву.



Воспитатели

В детском саду я сильно привязался к пожилой воспитательнице Зинаиде Ивановне – я называл ее Зинда Ванна. За ней постоянно тянулся выводок малышей. Стоило ей присесть, как они облепляли ее, и для каждого находилось ласковое словечко, носовой платок или конфета. Я часто сиживал у нее на коленях. Накануне утренника она показывала мне какой-то танец и объясняла: «Прыгай шире. Видишь, перед тобой ручей, его надо перепрыгнуть», – и я сделал круг, как она хотела, широкими прыжками.

Как-то на моих глазах женщина спускалась с крыльца, оступилась и выронила из рук кринку с молоком. Она долго сокрушалась, всплескивала руками, корила себя за оплошность. Ее неподдельная досада и разнообразные жесты поразили меня. Когда женщина ушла, я на веранде садика очень похоже разыграл отчаяние взрослого человека. Я не копировал, вся сценка вышла сама собой; бессознательно проступили актерские задатки, дремлющие в каждом ребенке. Мои маленькие зрители заливались смехом, и я несколько раз повторил для них пантомиму.

Пришел день, когда нас вывели в зал и построили вдоль стен перед большим портретом Иосифа Виссарионовича. По дороге в садик я видел множество людей, они сгрудились на площади под трубой репродуктора и молчаливо внимали строгому, размеренному голосу диктора. В зале звучала печальная музыка, женщины прикладывали платки к глазам. Я чувствовал, что неудобно стоять с сухими глазами, но плакать не хотелось. Так и простоял в шеренге с виноватым видом.

В другой раз Зинда Ванна усадила нас на скамейке в зале и, выделяя каждое слово, сказала: «Дети, в этот солнечный день родился наш вождь и учитель Владимир Ильич Ленин. Я уже рассказывала вам, как Владимир Ильич любил детей и заботился о них. И дети любили его так же горячо. Сейчас мы разучим и споем песню о Ленине, покажем, как мы его любим». Она села за фортепьяно и жалостным бабьим голосом запела:

*Тих апрель, в цветы одетый,
А январь суров и зол.
Ты пришел с весенним цветом,
В ночь морозную ушел.
Подари, апрель, на память
Нам из сада алых роз.
А тебя, январь, не надо —
Друга ты от нас унес.*

Пять минут назад мы бегали по залу, визжали, кувыркались на ковре, и вдруг нас словно подменили: мы сидели как вкопанные, с широко открытыми глазами, и жадно слушали Зинду Ванну. Не знаю, что подействовало: торжественный зачин, песня или ее исполнение... Я понял только одно: если бы не злой январь, Ленин продолжал бы жить и заботиться о детворе.

Как все учительские дети, я рано узнал школу. Мать просто взяла за руку и привела в свой 3-й класс. Меня тотчас окружили мальчишки и девочки в красных галстуках – любопытные, озорные, услужливые. Кто-то со смехом оповестил: «У нас новенький!», кто-то протянул яблоко, кто-то открыл пенал и показал его содержимое, а бойкая девочка повела и посадила за свою парту. На уроках матери я наблюдал происходящее, разглядывал учебники и рисовал. На переменах меня снова занимали ребята, а Таня Помазанова и Валя Горлова стали моими учительницами. Они подсунули мне азбуку и заставили вызубрить ее, научили писать карандашом по линейкам, складывать и вычитать на палочках. Мы играли в куклы, фантики, летом

наряжали высокую елку-лебеду. Конечно, они играли со мной в «дочки-матери», поэтому наше общение проходило легко и безоблачно, как в дружной любящей семье.

Повзрослев, я сам начал играть в школу. Разграфил тетрадь под школьный журнал, усадил сестер и стал диктовать диктанты из сборника матери. Девочки безропотно подчинялись моим приказам, и я с наслаждением выводил в «журнале» четверки и пятерки. Мне казалось, что проверять работы учеников и ставить оценки – самое важное и интересное занятие на свете.

Благодаря моим учительницам, я научился читать как-то внезапно, без усилий. На одном из торжественных собраний в станичном клубе я самостоятельно прочитал лозунг над сценой: «Под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством великого Сталина – вперед к победе коммунизма!» – сначала про себя, потом, более уверенно, для матери. Она удивилась, похвасталась моими успехами перед подругами и вскоре подарила фильмоскоп с набором диафильмов. Так, через окуляр, я прочитал басни Крылова, а в детском саду припал к сказкам. Я гордился тем, что без помощи воспитателя сам могу в любое время снять с полки большую нарядную книгу и открыть её там, где летит ковер – самолет.

Одолов букварь, я потянулся читать все, что было под рукой. Среди немногих книг попало «Доходное место». Удивила форма изложения: не сплошной текст, к которому я привык, а речь живых людей, непрерывный разговор. Каждый день я открывал эту тонкую мягкую книжицу и перечитывал имена действующих лиц: Вышневецкий, Жадов, Юсов, Досужев – таких я не слышал рядом. В детском саду были Коростелёв, Курицына, Маслов, Комаров. Дошло до того, что я начал читать пьесу вслух матери, приходившей из школы. Я переписал крупными буквами начало первого явления, прикрепил бумагу на спинку стула и, громко читая диалог издали, притворялся, будто знаю его наизусть. Мать готовила ужин и делала вид, что не замечает моей хитрости.

У нас любят с осуждением говорить: вырос в тепличной среде, тепличное растение. Для огурца, не считаясь с затратами, строят теплицы, а человеку, видите ли, они противопоказаны, сам станет на ноги. Так и вылупились целые поколения, либо скованные и нерешительные, либо готовые расталкивать и вырывать блага. Даже не верится, что были когда-то Елагины, Киреевские, Аксаковы, Бакунины, Бестужевы, Тургеневы, Плещеевы, Станкевичи, возвращенные в родовых дворянских оранжереях и составившие гордость нации. Они-то и показали миру, каким может быть русский человек, на которого не скупилась в детстве и юности.

Где ты, моя школьная подружка Светочка Непейвода – изящная, добрая и талантливая девочка с мелодичным голоском? В её семье я, 10-летний мальчишка, узнал, что есть накрахмаленные скатерти и салфетки, обед подается в сверкающем сервизе и детей спрашивают, что положить в тарелку. В доме вовремя раздаётся мягкий голос матери, напоминающий о неотложных делах, и семья такова, что трудно разобраться: где взрослые, а где дети. И теперь, через десятилетия, мысленно блаженствую в гостеприимной семье Любочки Мурзиной, ученицы матери. Отец-офицер пропал на службе, а в большом доме в конце восходящей улицы нерушимо держался раз навсегда заведенный порядок. Любочка была тихой застенчивой девочкой, я сам предлагал ей игры и развлечения. Мы часами пеленали и наряжали её многочисленных кукол, мыли и наполняли яствами кукольную посуду, принимали и провожали «гостей» и не замечали, что своей возней воспроизводим деятельность Любочкиной мамы. Появляясь в детской, она сразу вникала в суть наших занятий, кое-что поправляла, передвигала, добавляла, и мы с удивлением обнаруживали, что её руки умеют творить чудо. А потом она звала: «Дети, пойдемте кушать барабулю», – и мы вперегонки бежали в столовую лакомиться этой нежной рыбкой. Да разве таким бы я был, если бы вырос в теплице!

Шубины

В последний раз я наведалься в Усть-Лабинскую, когда мне было лет 14. Там жила старинная подруга матери Галя Шубина, она пригласила меня на недельку зимних каникул. Галя работала лаборантом на маслозаводе и занимала ведомственную квартиру. Её 70-летняя мать, сотканная из мелких морщинок маленькая живая старушка, приняла меня по-родственному. Она не отходила от плиты, и каждый день потчевала какой-нибудь вкусной стряпней. Вначале я сопротивлялся, но любой отказ старушка воспринимала как обиду, и я покорно глотал все, что она выставляла на стол: заливное, блины, слойки, хворост, запеканку...

С Галиным сыном Валеркой мы подружились в первый же день. Это был широкоплечий рослый детина лет 27, сила и здоровье так и переливались в его молодом теле. Не знаю, где он работал, из дому он отлучался редко. Мать иногда поругивала его за безделье, но так, как ругают единственного любимого ребенка – с напускной строгостью и плохо скрываемым удовлетворением, что сын всегда рядом.

Валерка обрадовался свежему и незанятому человеку, разница в возрасте его совершенно не смущала. Прежде всего, он рассказал мне, что снимался в кинокартине «Огненные вёрсты», которая недавно прошла по экранам. Я не поверил: «А какую ты роль играл?» – «Да не роль. Мы изображали погоню». И он объяснил, как кавалеристы-каскадеры на скаку подсекали коней, будто их подстрелили, и ловко скатывались через головы целыми и невредимыми. Я зауважал Валерку, что, впрочем, не мешало мне относиться к нему как к ровеснику. Он был из тех счастливых, с кем сразу становишься на короткую ногу и не ведаешь стеснения и робости. Мы боролись на широком диване, и он показал мне несколько бойцовских приемов. И всё с хохотом, возгласами, шутками. Чтобы занять Валерку, я повел его в станичную библиотеку. Он долго ходил среди полок, вынимал и ставил книги обратно, пока я не вытерпел и предложил ему: «Про сыщика хочешь?» – «Майора Пронина? Я читал». – «Получше», – и я подал ему «Рассказы о Шерлоке Холмсе».

Как ни странно, Валерка ничего не слышал о знаменитом детективе. Два дня он лежал на диване, не выпуская книги из рук, потом сладко потянулся и изрёк: «Ну и молоток, этот англичанин. Так он на самом деле жил, не выдуман?» И тут же прошелся по местной милиции, которая несколько недель не могла выйти на грабителей, зарезавших одинокую старуху: «Тоже мне, специалисты. Шерлок Холмс закрыл бы дело в три дня». А через три дня я уезжал, и Валерка проводил меня на вокзал.

Бикин

Первый класс я закончил без натуги, он совсем не отложился в памяти. Летом 54-го мать распродала вещи, и мы через всю страну двинулись на Дальний Восток: там мать надеялась удачно выйти замуж. На станциях я выбегал с чайником за кипятком, а в пути слонялся по вагону и присматривался, как пассажиры играют в домино-карты, едят, храпят, бренчат на гитаре. Меня привечали и угощали, народ был простой и хлебосольный. Когда проезжали Байкал, где-то между туннелями мужчина средних лет призвал всех внимательно смотреть вверх. Там, на отвесной каменной стене, появился на несколько мгновений и пропал из глаз отчетливый профиль Сталина. Мужчина, по-видимому – бывший зек, рассказал, что портрет вождя высек по собственному почину один из лагерников. Рискуя жизнью, он зависал над обрывом и нечеловеческим усилием обрабатывал скалу изо дня в день, из месяца в месяц. Этим подвигом он купил себе досрочное освобождение.

Мы высадились в Бикине – районном городке близ китайской границы: он возник в конце 19 века при строительстве железной дороги и был тогда казачьим посёлком Уссурийского казачьего войска. Мать устроилась воспитателем в детдом и сняла комнату у детдомовской поварахи Анны Ивановны. Ее дочка Света была старше меня на три года, а сынишка Коля – одноклассник. Их безногий отец Василий весь день подшивал старую обувь и терпеливо ждал грозную супругу. Иногда он окликал Светку: «Доча, посмотри, куда мать бутылку прибрала?» Но бутылка была спрятана надежно. Мне рассказали, что однажды Василий напился с женой до чертиков и разругался. Он вышел на рельсы и подставил ноги под колеса проходящего состава. С тех пор Василий потерял всякое значение в доме, и я не раз слышал, как в минуты гнева хозяйка грубо обрывала его жалобы и ропот: «Замолчи, проклятый! Башку бы дурную оттяпал, а не ноги». Бывали дни, когда он ожесточался и материл все на свете: жизнь, жену, детей, квартирантов.

Втроем мы составили неразлучную компанию. Вместе ходили в школу, готовили уроки, играли. Особенно нравилось бродить по путям железной дороги, заглядывать в желтые фонари стрелок, кататься на задних площадках товарных вагонов. Я долго мечтал объехать на такой площадке всю страну: в ушах свистит ветер, по сторонам несутся леса, реки, города, а ты – вольный, как птица, никто не мешает. Иногда заходили в единственный магазин и обозревали высоченные пирамиды маленьких консервных банок с надписью «Крабы». Ничего другого на витрине не было.

Запомнилась бурная осенняя ночь, когда на Бикин обрушился ураган с ливнем. Свистящий вой закладывал уши, в доме гроыхало, стучало, тряслось, в подставленные посудины с потолка струилась вода, а мне было весело. Я заметил на подоконнике полное ведро и украдкой придвинул его к самому краю. Сильный порыв ветра выбил оконную створку, ведро обрушилось на пол. Поднялась суматоха, а я лежал под одеялом и едва сдерживал приступы смеха.

Вскоре у нас появился усатый неразговорчивый солдат Толя. Сунув мне кулёк с «подушечками», он проходил в комнату матери, а я отправлялся на улицу. Через дорогу от дома, на луговине рядом с путями, раскинулся армейский палаточный лагерь, где с утра до вечера сновали солдаты. Туда я и шёл. Солдаты замечали одиноко стоявшего мальчишку и во время перекура звали: «Подходи, пацан, не бойся. Закуришь с нами?» Я оживал, с готовностью выполнял их мелкие просьбы, слушал беззлобные шутки, и вместе мы заразительно смеялись.

Во время обеда меня усаживали за стол и ставили алюминиевую миску: «Рубай!» С собой я уносил приличную краюху и съедал ее постепенно, отщипывая по кусочку, как редкое лакомство. После солдатских перекуров я и сам попробовал закурить. Сделал самокрутку из сухих листьев, затянулся и разразился кашлем. Ничего, кроме удушья и отвращения, я не испытал.

Мать водила меня в детдом, чтобы накормить, и я сразу уходил. Детдомовские мальчишки смотрели на «маменькиного сынка» с презрением и норовили то ущипнуть, то схватить за волосы, то поставить подножку. Проходя мимо, один из них бросил в мою тарелку ржавый ключ и загоготал. Больше всего понравилось в летнем лагере у подножия зелёной сопки. Рядом блестела чистая быстрая река, где мы вволю купались, а старшие ловили крупных зубастых щук. Я помогал Анне Ивановне на кухне, и она угощала меня кусочками розового киселя. По вечерам разжигали огромный костёр и запускали патефон с заигранной пластинкой «Были два друга в нашем полку...»

Через полгода мы вернулись на Кубань, в Новороссийск, где жила семья тётки. И опять начались переезды с квартиры на квартиру. В одной из них, с глиняным полом, едва не уготели. Во сне я потерял сознание и очнулся на свежем воздухе: надо мной, как в тумане, склонились испуганные лица взрослых. Жили на учительскую зарплату матери. Поджидая её из школы, я нередко наливал в блюдце подсолнечного масла и замакивал его кусочками хлеба. Бывало и другое. В отсутствие хозяйки, я открывал её сковороду с жареной хамсой и съедал несколько рыбок так, чтобы не заметили. В магазине моё внимание привлекла коробка с надписью «Толокно». Что это такое? И цена доступная – всего 2 рубля. Сложил накопленную мелочь и купил вожделенную коробку. Какое испытал разочарование, когда вместо аппетитной начинки обнаружил обыкновенную муку – овсяную, как объяснила мать.

Жизнь переменилась с приездом из Бикина демобилизованного Толи. Мать сразу потребовала, чтобы я называл его папой. Мне шёл 10-й год, я никого ещё так не называл и придумал другое обращение – папунчик. На том и сошлись, мать с отчимом не заметили подмены. Вскоре мать оформила ссуду и на западной окраине, высоко над морем, купила участок каменистой земли с саманной времяжкой и фундаментом под дом. Мы наконец-то обрели жилище, а я – постоянных товарищей.

Семья

Через 35 лет свиделись с сестрой Ниной и попали под власть воспоминаний. «Ты помнишь, как играли в магазин? Я продавал, а ты покупала граммы печенья, сахара, изюма и внимательно следила, чтобы не обвесил». – «А наша торговля на базаре? На прилавке пучки лука и редиски, а за прилавком продавцы-дети. Родители всегда были заняты и вместо себя посылали на рынок нас». – «Ты не забыл, как помогал мне писать сочинение в 8 классе? Учительнице понравилось, но она не могла понять, почему вторая половина отличается от первой». Каждый день разматывается клубок воспоминаний, и держится ощущение, что не 35 лет позади, а 35 дней. Иллюзия неподвижности времени, его неосвязаемости снова вступила в свои права. Невероятно, что было детство, мальчик и девочка, их дружба и игры; прошлое казалось выдумкой – ведь время заключается только в настоящем. Сестра уехала, присутствие сменилось отсутствием, и время сдвинулось, помчалось дальше, как будто прикрыли луч проектора. Совместить прошлое и настоящее невозможно. Я живу – жил, что есть и чего нет? Жизнь во сне и сон наяву.

Я не знал горячей родительской любви. Отчим заботился, не отказывал в просьбах, но мною совершенно не интересовался. Он был классным электросварщиком, мастером на все руки, и его раздражало то, что вместо молотка и рубанка я тянусь к «забавам». Как только я выполнял уроки, он немедленно брал меня на стройку дома и использовал как подручного. Приходилось хитрить. Заслышав приближающиеся шаги папунчика, я быстро прикрывал книгу развернутым учебником и на вопрос: «Уроки сделал?», – невинно отвечал: «Осталось правила выучить». Выпивал он редко, да метко. Однажды так разбушевался, что вся посуда полетела на пол, а мы с матерью вырвались из дома и заночевали у соседей.

Мать не вмешивалась в наши отношения. Она была озабочена тем, чтобы удержать при себе молодого мужчину, и во всех размолвках брала сторону мужа. Большую часть времени она проводила в школе, за мной присматривала поверхностно, мои проступки и шалости предпочитала наказывать ремнем.



Мать, отчим Анатолий Карпусь, бабушка,
дядя Георгий Кутузов, двоюродный брат Борис.
Новороссийск, 1963

Я постоянно был загружен работой: пропалывал и очищал от мергеля огород, собирал щебень для стройки, носил воду из дальней колонки и родника, ходил за продуктами и томился в огромных очередях за молоком и маслом. Однажды на мой вопрос: «Кто последний?» мне ответили: «Будешь тысяча тридцатым»; почти каждый занимал очередь для себя и своих родственников. Незаметно пристрастился к кулинарии и заменил мать на кухне. Особенно нра-

вилось заниматься тестом – дрожжевым, слоеным, песочным, взбивать кремы, придумывать начинки. Многому научила бабуля, другое извлек из календарей и журналов. Как-то в больнице подслушал телефонный разговор. Мать втолковывала взрослому сыну, как сварить простенький суп. Мне не верилось: неужели 30-летний мужчина не в состоянии себя накормить? Постирать белье, привести в порядок одежду, жилище, сделать маленький ремонт?

Отчим поощрял всякий ручной труд и подарил мне фотоаппарат и лобзик, я занялся фотографией и выпиливанием. Каждый вечер приходилось встречать из стада двух прелестных козлят Машку и Борьку, задавать корм псу Пудику, курам и кроликам. С весны до глубокой осени я уходил далеко за город и через несколько часов приносил мешок травы и веток. Природа была рядом, за нашей окраинной улицей: разбросанные по косогору колючие кустарники держи-дерева, виноградники на склонах, заросли кизила и ежевики, дубовый молодняк; глубокие балки с прозрачными холодными ручьями, гора Колдун на Мысхако. 12-летним мальчиком я исходил вдоль и поперек зеленые окрестности, лакомился на виноградниках поздними подвяленными ягодами.

В лесах я наткнулся на осыпавшиеся окопы времен легендарной Малой земли. На каждом шагу встречались кучки позеленевших патронных гильз, ржавые каски, саперные лопатки, осколки снарядов, консервные банки. Казалось, земля не успела остыть от яростных схваток. Я перебирал куски металла, лазил по остаткам укреплений и слабо представлял, что произошло здесь на самом деле. Твердо знал только одно: была война, немцы захватили Новороссийск, но наши разбили немцев и освободили город. Об этих событиях тогда вспоминали редко.

Позднее я часто ходил за 12—15 километров в Широкую балку. Покрытое густыми лесами урочище внезапно раздвигается и открывает морские дали. Между берегом и желтыми скалами то узкая, то расширяющаяся полоса чудесного пляжа из крупной гальки, огромные отполированные валуны и уходящее за горизонт густо-синее море. В знойный полдень медлительный накат прибоя сливается со стрекотом тысяч крылатых тварей, воздух пропитан ароматом горячего можжевельника, первозданное безлюдье. Только моя одинокая душа то вбирает и вырастает беспредельно, то дробится на атомы и колыхается медузами на волнах, вскипает шипучей пеной, проносится крикливой чайкой. Какое счастье, что все это было! Надо пожить так хоть несколько дней, чтобы понять, зачем дается жизнь, и надолго – навсегда! – привязаться к земному великолепию. Только через годы человеческое стало вровень с Природой и омрачило ясное утро детства.

Лагерь

Наступало лето, мать приглашали воспитателем в пионерский лагерь, и мы выезжали в Кабардинку. Лагерь находился у подножия Маркотхского хребта, вдоль шоссе на Сухуми, и сразу через дорогу начинался

спуск к морю. В окрестностях переплелись непроходимые заросли ежевики, по-местному – ожины, и когда она наливалась, все ходили с лиловыми губами и руками. По узкой мергелевой тропе мы поднимались с вожатыми и воспитателем на вершину хребта и с перевала, как вольные птицы, могли обозревать все стороны света: море, долины, городские окраины.

В отряде матери отдыхали девушки-старшеклассницы, и она часто ходила с ними в походы на Дообский мыс, увенчанный белой башней маяка. Я всегда был рядом. Мыс врезается скалистым выступом в море и открывает вход в красивейшую Цемесскую бухту – колыбель Новороссийска. К мысу примыкают одна за другой три пологих горы. Здесь я услышал и записал легенду про трех сестер, которых злой колдун превратил в каменные изваяния. Легенду прочитал Т.И.Гончаренко и напечатал в школьном альманахе «Алые паруса».



Среди сосен, на мягкой подстилке, мы устраивали привал, закусывали и допоздна плескались среди обточенных морем валунов, а в сумерках, у костра, славили походное лакомство: «Ах, картошка, объеденье – денье – денье, Пионеров идеал – ал – ал». Теплая южная ночь накрывала мягким пологом, сосны навевали дремоту, и под рокот прибоя мы засыпали.

По подсказке взрослых меня неизменно выбирали председателем совета, и утром я делал переключку, выводил отряд на линейку и сдавал рапорт старшему пионервожатому. Обязанности были несложные: выпустить стенгазету, подобрать участников турниров и конкурсов, составить график дежурства по палате и столовой. После отбоя вожатый из комсомольцев укладывался вместе с нами, рассказывал какие-нибудь истории, и мы погружались в сон.

Любимой игрой была «Почта» на центральной аллее лагеря. Кто-нибудь из старших девочек раздавал участникам номера на картонных кружочках, мы прикрепляли их на груди и становились адресатами. Добровольные почтальоны собирали записки и вручали указанному номеру. По условиям игры, встречаться адресатам было запрещено, и весь интерес заключался в неожиданности: кто тебя выбрал? что напишут? как примут твоё послание? Писали знакомым и незнакомым, приятелям и врагам, объяснялись в любви и сводили счеты. Конечно, под записками «Ты дурак», «Я набью тебе морду» подписей не было. Нередко устраивали розыгрыши: «Приходи после ужина к умывальнику, я хочу с тобой познакомиться». Приходишь, а там никого нет.

Но однажды я развернул и прочитал: «Ты мне нравишься. №74». Я прошелся по аллее и из-за спин разглядел большеглазую смуглую девочку с косами. Она читала одну за другой

записки и рвала на мелкие клочки. Я разволновался: никто таких признаний мне не делал, другие мальчишки, я знал, получали их десятками. «Наверное, шутит», – решил я и ответил: «Давай знакомиться. Меня зовут Игорь». Через несколько минут я узнал, что ее зовут Катя, и она перешла в 7-й класс. «На целый год старше, – подумал я, – чего ей от меня надо?» В очередных записках Катя сообщила, что играет на фортепьяно и рисует, а я перечислил ей свои любимые книги и кукольные спектакли.

На следующий день я сразу предложил моей знакомой встретиться. «Я могу только переписываться», – написала девочка и вызвала недоумение. «Почему?», – полетела моя записка. – «Потому что я скоро уезжаю, и у меня есть мальчик в школе. Не бросай игру», – попросила она, и я, покоренный ее прямотой, выполнил просьбу. Мы обменялись сведениями о родителях: «Папа – моряк», – увлечениях, школьных предметах, затаенных желаниях, и наконец я получил грустное известие: «Завтра за мной придет мама. Спасибо тебе, до свидания». За ужином нам раздали яблоки, и я попросил приятеля Кольку отнести свое яблоко на ее стол. Когда она повернулась в мою сторону, я быстро отвёл глаза. Через неделю сезон закрылся большим праздничным костром, и мы разъехались по домам. Но девочка с черными косичками еще долго не отпускала меня.

Увлечения

Мои уроки начинались на любимой скамейке, где в сумерки, после жмурок, казаков-разбойников и скакалки, собиралась вся уличная команда. Мне отводилось почётное место в середине, и я продолжал прерванную накануне историю летающего мальчика Ариеля. Весь беляевский 3-томник был не раз прочитан и пересказан мною летними вечерами вплоть до той минуты, когда от калиток раздавались родительские голоса: «Витька! Сашка! Игорь! Домой!». Мои любимые книги «Без семьи», «Рыжик», «Капитан Гаттерас» стали любимыми книгами улицы. Одну из них, «Пятнадцатилетнего капитана», – хорошо запомнил малый формат и синюю обложку – мне подарила Светочка Непейвода в день рождения. И было это ещё во втором классе за столом, накрытом матерью, в доме военкоматского извозчика Семёна, у которого мы снимали комнату. До сих пор сохранилось в душе то неудовлетворённое чувство жадного интереса, с каким смотрел на толстый потрёпанный том «Детей капитана Гранта». Он небрежно лежал на подоконнике одного из домов в центре Новороссийска, и мимо этого дома я проходил по пути в музыкальную школу и обратно. Невольно задерживался у особенного окна, устремлял взор сквозь запylённое стекло на книгу и шёл дальше. Кинокартину нам показали в лагерной столовой минувшим летом, и вот теперь перед глазами была недоступная книга с таким же названием. Остро хотелось её схватить и унести. Увы, в школьной библиотеке «Капитана Гранта» не оказалось, у ровесников – тоже. Я успокоился лишь тогда, когда книга исчезла с подоконника.

Я пересказывал по-книжному, натурально передавал чужую речь. Разумеется, я не помнил авторского текста дословно и стремился лишь точно передать сюжетные хитросплетения. А вот подробности, детали, реплики нередко сочинял, словно «вышивал по канве». Как пригодилось это умение в школе, когда надо было оживить, расцветить историческую сцену, придумать диалог или внутренний монолог героя.

Дальше – больше. Как-то в универмаге заметил большую яркую коробку «Наш театр», долго приглядывался и выпросил у отчима деньги на покупку. В коробке оказались картонные заготовки для настольного театра сказок. Несколько дней мы с папунчиком вырезали и склеивали фигурки персонажей, монтировали вертящийся диск-сцену. На очередных посиделках я пригласил товарищей в «театр» – они недоверчиво посмотрели на меня и стали расспрашивать, но я твердил одно: «Сами увидите». Явились не все. Когда я с колотящимся сердцем поднял бумажный занавес, перед «сценой» в дверном проёме сидело 4 зрителя. На следующий день, после «Колобка», их стало вдвое больше, и в 11 лет я заслужил первые зрительские аплодисменты. Через две недели репертуар был исчерпан, но я настолько вошёл во вкус, что не желал и слышать о закрытии «сезона». Я перешёл от настольного к настоящему кукольному театру. Из магазинных выкроек мы с кузиной смастерили разных кукол, надели их на пальцы и наловчились управлять. Я перекрыл подвальный вход одеялом, и спектакли пошли один за другим. Они потребовали от меня значительно больше подготовки и напряжения, однако все усилия вознаграждались шумным признанием улицы. Прошли годы, и мои ученики на выпускном вечере надели мне на шею картонную медаль «Самому артистичному учителю за преподавание истории в лицах». Принимая награду, я вспомнил свои дворовые представления, первых зрителей и разрывающее чувство подъёма и парения над землёй.

С детства я стихийно противился тому, что пытались навязать и заставить. Я сам находил занятия и отдавался им до самозабвения. Так получилось и с музыкой. Родители подарили баян и записали в музыкальную школу только потому, что знали: у меня есть слух, я быстро схватываю и напеваю услышанные по радио песни. Так, в 3—4 года я запомнил и часто исполнял «Одинокую гармонь», «Хороши весной в саду цветочки», «До свиданья, мама, не горюй, не грусти». Произошло то, что часто бывает в семье: воля старших пошла вразрез с жела-

нием ребенка и обернулась принуждением. В музыкальную школу я ходил неохотно, занимался мало. В овладении инструментом большое значение имеет механическая тренировка и усидчивость, тут ничего не добиться без стойкого интереса и нарастающего упорства. Поэтому я не приобрел ни беглости пальцев, ни уверенности и играю только на бытовом уровне.

Возмужав, я вполне оценил преимущества человека музицирующего. Какое наслаждение, как вырастаешь в собственных глазах, когда разучишь незнакомую пьесу, песню, услышанную мелодию. Случалось, что баян давал мне работу и заработок. Так, после переезда в Омск, я не нашёл другого места, кроме учителя музыки в одной из городских школ. Любопытно, что никаких документов о музыкальном образовании от меня не потребовали и приняли на работу как студента-заочника.

Когда я пришёл с баяном на первый урок, семиклассники совсем не обратили на меня внимания, да я и не ждал другого приёма: на уроках пения ученики привыкли отдыхать от серьёзных занятий и развлекались на полную катушку. Так и тут. Одни тараторили и хохотали, другие прыгали и бегали, третьи уткнулись в тетради. И лишь несколько человек внимательно наблюдали за мною. Я постоял, обвёл сборище долгим взглядом и, не говоря ни слова, развёл меха. Решение пришло сразу – спеть. В кинотеатрах только что прошла картина о советских разведчиках «Щит и меч», а в ней звучала запоминающаяся песня. И я вполголоса, как бы для себя, запел: «С чего начинается Родина? С картинки в твоём букваре...» Класс по-прежнему бесновался, а я пел, пел и слышал, как тишина постепенно растекается по классу, и мой голос захватывает всё пространство. Спел последнюю фразу и предложил: «Хотите, попробуем вместе? Запишите слова». И подростки без возражений потянулись к ручкам, а потом пытались вспомнить, когда и где впервые узнали о родине. Следующий урок был в параллельном 7-м, там встретили меня криками с мест: «А нам споёте?» Так и пошло – через сопротивление, срывы, озорство. Разучивали новые песни, слушали пластинки и писали сочинения (чего только я ни начитался), устраивали «концерты по заявкам», конкурсы исполнителей, музыкальные путешествия. В начальных классах я проводил по просьбам учителей тематические утренники и подыгрывал на пионерских сборах. Малыши особенно любили инсценировать песни и старательно представляли песенных персонажей: пограничников, клоунов, зверей, весёлых ребят.

Как и книги, баян обогатил и украсил мою жизнь, помог подчинить беспощадное время. А сколько друзей и симпатий доставила мне игра! В деревнях меня приглашали на семейные торжества, мой класс лучше всех выступал на смотрах, я готовил и проводил школьные праздники, выводил на сцену ученические и учительские хоры. И всю жизнь с уважением смотрю на людей, умеющих выразить себя в инструменте. Нет, не ошиблись родители, когда наградили поющими мехами и заставили ходить в музыкальную школу.

Пластинки

По-другому вышло с классической музыкой. Пока учитель объяснял и проигрывал отрывки для всех, я был совершенно безучастен. Но вот однажды на рынке я заглянул в магазинчик уцененных товаров и увидел на прилавке кипу очень дешевых грампластинок – по рублю за штуку вместо положенных десяти. Именно дешевизна и подтолкнула меня к покупке. Я принес домой 5 дисков «Руслана» с голосами Лемешева, Фирсовой, Нэлеппа, Петрова, Вербицкой, включил проигрыватель и при первых же громовых аккордах увертюры вздрогнул от восторга узнавания. Бывает так: долго не видел близкого человека, не брал в руки прочитанную книгу, отсутствовал в родном доме. И вдруг мелькнет полузабытое лицо, откроется страница, покажется заветное крыльцо. И вмиг ударит в сердце горячая волна воспоминаний. Один взгляд, одно слово, одна вещь влекут за собой сонм картин, образов, впечатлений. Жизнь внезапно вырывается в прошлое и будущее, открывается незнакомыми гранями. Так волшебный «Руслан» увлек меня в мир высокой музыки.

Я заиграл пластинки до хрипоты, выучил оперу наизусть, она стала клеточным материалом моего существа, эталоном совершенства, красоты, смыслового и мелодического богатства. Восхищение, радость были безмерны, хотелось их с кем-нибудь разделить. Я позвал сестру Нину, запустил радиолу и по мере звучания оперы давал торопливые пояснения. Нинуля, как и я, сразу подпала под обаяние глинкинской музыки, запомнила многие мелодии, и если я начинал, она тотчас присоединялась:

*Успокойся, минет время,
Радость тихая плеснёт,
И над нами солнце жизни,
Счастье новое взойдет.*

Через 50 лет я не поверил глазам, когда прочитал в серьёзной газете, что «Руслан», «длиннющая и скучнющая опера», переделан в лёгкий водевиль «Мученики любви». Какой же слух надо иметь, чтобы не услышать этот, по выражению Б. Асафьева, «музыкальный эпос русского народа». Сделали из искусства развлекательную дребедень, но алхимией тут не пахнет. Те пытались превратить олово в золото, эти поступают наоборот. Вместо сложной и увлекательной алхимии расцвело прилюдное мародёрство. Со страниц газеты заявила о себе эпоха, когда тон задаёт не человек, а возведённая им цивилизация: совсем другие уши, другие глаза, другие понятия – всё мировосприятие, в котором зрелой красоте нет места. Маргарин вытеснил масло, и маргариновое поколение не знает, что такое масло, потому что вскормлено на эрзацах. Эрзац прост, доступен и совсем как масло, тем более что цвет и аромат подделаны под натуральные. Полвека я слушаю оперу и нахожу всё новые и новые оттенки – «Руслан» неисчерпаем. А по богатству заложенных чувств и душевных состояний он не имеет соперников в мировой оперной литературе.

Я горжусь своим детским открытием, как гордился всю жизнь гениальный Римский-Корсаков. Он услышал «Руслана» примерно в моём возрасте и «сразу решил, что автор... – личность, по таланту из ряда вон выходящая». В письме к родителям 11 октября 1859 г. юноша восклицает: «Чья лучшая опера в свете? Глинки «Руслан и Людмила». Кадет Морского корпуса Римский-Корсаков уже хорошо знал европейскую классику, он регулярно посещал Петербургскую оперу и сравнивал с Моцартом, Россини и Беллини, Доницетти и Верди, Вебером и Мейербером. Но Глинку безошибочно поставил выше всех.

Вслед за «Русланом» пришли «Иоланта», «Садко», «Царская невеста», рапсодии и поэмы Листа, симфонии Рахманинова и Бородина – всё в благодатную детскую пору, когда душа открыта на все стороны и алчет понимания, отклика, чуда.

Звучащие диски, купленные по случаю, развернули мою жизнь в новом направлении. Я бредил ариями и мечтал о карьере оперного певца. «Хованщину» вобрал и пережил от первого звука до последнего – уже сознательно, имея большой опыт слушателя. Меня потрясли изумительно-певучие речитативы, бесшабашные стрельцы и непреклонные раскольники, гордая и бесстрашная Марфа: в любви и вере – до конца. «Хованщина» дала мне для понимания нашего народа и истории больше, чем сотни книг и документов; начинаясь рассветом, она завершается костром и самосожжением непокорных и отвергнутых. И полыхают эти костры до сих пор. Я впервые задумался: что же это за страна, где легче сгореть, чем договориться; проще обмануть, чем выполнить?

Погружение в музыку было так велико, что в 1963 году, 17-ти лет, я под впечатлением «Хованщины» взялся за сочинение собственной «музыкальной драмы».

Тогда я был опьянен некрасовской поэмой «Кому на Руси жить хорошо». Она насыщена песенной лирикой и настолько музыкальна, что сама просится на голос. Я до сих пор удивляюсь, почему никто из великих не положил на музыку эту несравненную вещь.

Конечно, то была безумная дерзость, невысказанная в годы зрелости и расчетливости. Юность безумна от избытка сил, старость от безысходности. В 68-м я привез на экскурсию в Москву 120 школьников. В Третьяковской галерее мне сообщили, что все экскурсоводы заняты, и просили подождать. И тут я решился на дерзость. «Ждать из-за такого пустяка? Не буду», – и повел за собой толпу молодежи. Не помню, что я говорил, но когда через час остановился у картины «Черное море» Айвазовского, то обнаружил, что меня слушает вдвое больше людей. Думаю, что сейчас я бы не отважился на подобную выходку.

А что же моя «музыкальная драма»? Прежде всего, я выбрал из сборников и переписал в нотные тетради полсотни народных песен – обрядовых, плясовых, семейных, лирических. Я не только узнал неведомые мне мелодии, я буквально пропитался строем и духом родной песни. Тогда-то я и понял: то, что звучит с эстрады, весьма отдалённо напоминает подлинный крестьянский мелос, это зазывные размалеванные матрешки. Вечерами в потемках, когда отключали свет, моя хозяйка баба Соня просила: «Игорек, спел бы ты „Поле“, что-то на душе муторно». Я брал баян и протяжно, на широком дыхании, без нажима выводил грустный рассказ о неоглядных просторах, долгой разлуке и молодой загубленной жизни. Когда я уходил от бабы Сони, она мне высказала: «Характерный ты и дуже гордый, а вот за песни я бы тебя всю жизнь обиходила».

Как и полагается, я составил либретто, занявшее три школьных тетради, наметил список действующих лиц и расписал голоса, а затем принялся за сочинение. Листаю сохранившуюся нотную тетрадь и читаю названия готовых номеров: Веселая, Солдатская, Голодная, Барщинная, две песни Матрены, песня Гриши, притча Ионы, дуэт Гриши и Саввы, песня молодки, хор «Русь». Вот и все, что удалось сделать в короткие осенние каникулы того года. Непосильная затея как вспыхнула, так и погасла. С той поры музыка перестала быть обычным наслаждением. Она звучит во мне постоянно. Я сочиняю без бумаги.

Поклон

«Кому что дати или у ково ми что взяти». Взять-то можно, если отдавать надумают, а сам с отдачей опоздал – некому. Но всех, кто приметил меня, расширил пределы моей жизни – не забыл и вписываю в эти страницы. Пора поклониться школе и учителям.

Как я теперь понимаю, моя родная 21-я школа имени Пушкина была выдающимся учебным заведением. Хорошо узнав школьную систему, я не изменил своего убеждения и вижу, как новоиспечённые гимназии и лицеи только пытаются приблизиться к той всесторонней модели образования, которая была воплощена полвека назад в одной из городских школ. И не для избранных, а для всех детей.

Школа открылась в 1936 году, а в 37-м, когда с размахом праздновался пушкинский юбилей, ей присвоили имя поэта. Во время войны здание школы вместе с городом было полностью разрушено. Восстанавливали 21-ю основательно, без мелочной экономии, и школа стала символом возрождения Новороссийска из руин фашистской оккупации. 1 сентября 1954 г. ученики и учителя вернулись в родные стены, а в декабре, после возвращения из Бикина, мать привела меня в новую школу во 2-й класс. Величественный светлый фасад с классическими колоннами настраивал на возвышенные чувства, и мы действительно гордились школой – второй такой в городе не было. Удивление возрастало под сводами здания-дворца: просторный вестибюль в зелени фикусов и пальм, широкие светлые коридоры, огромный актовый зал со сценой, где нередко выступали заезжие артисты, превосходно оснащённые естественно-научные кабинеты, спортивный зал, мастерские, столовая и буфет. Школа была переполнена, занятия шли с раннего утра до позднего вечера, но тесноты, нехватки пространства мы не ощущали: бестолковые переходы, неоправданные перемещения просто не допускались.

У нас всё было своё, особенное. Ухоженный виноградник, и осенью каждый класс получал по корзине заработанного винограда. Духовой оркестр, который приглашали на городские торжества. Серьезный детский театр и массовый хор. Многочисленные научные общества для старшеклассников и кружки для малолеток. Знаменитое литературное общество «Алые паруса» и, наконец, ежегодный праздник «За честь школы». Он проводился как творческий смотр всех школьных достижений и успехов, каждый класс блистал на этом великолепном торжестве своими талантами, каждый ученик стремился показать искреннюю любовь к школе. После праздника актовый зал превращался на несколько недель в увлекательную выставку ученических подарков, среди них, помню, было немало искусных макетов и действующих моделей. Ничего подобного я нигде больше не встречал.



Мой 4 А класс.

В центре В. Одинаркина, Г. Алексанян, А Каллистова (сл. напр.), С. Непейвода (2-й ряд, 4-я сл.), В. Потолицын (стоит 6-й спр.), Н. Пухальский (стоит 5-й сл.), С. Коднер (сидит 2-й спр.). 1957

Так и стоят в памяти завуч В. Одинаркина, словесницы Л. Шушара и М. Суркова, биолог З. Шишкина, математик Лебедева, географ В. Шапиро, преподаватель физкультуры В. Демидкина... Разные по темпераменту и мастерству педагоги, но резких перепадов в обучении мы, ученики, не замечали. Всех цементировала массивная, внушительная фигура директора Г. П. Александяна. При всем благодушии и терпимости, он мог быть и строгим, и требовательным, когда дело касалось авторитета школы, интересов детей. Первой учительницей была мать, а последующие три класса в 21-й учила Александра Владимировна Каллистова. Она и слышать не хотела о выходе на пенсию, хотя давно преодолела этот рубеж: приросла к школе и, пока оставались силы, преданно ей служила. Обитала в коммунальной комнатке на пару с такой же вдовой. Я часто бывал у нее, а когда старушка уезжала к единственному сыну, мне разрешалось приходить одному, копаться в книгах, заводить патефон и угощаться калеными орехами. Изредка она в гневе отчитывала меня за вертлявость и рассеянность, но вообще-то была добрейшим существом и быстро забывала обиды. Нас видела насквозь, с каждым из 40 работала по-своему, терпеливо поправляла, наполняла и отделявала наши способности и характеры. Помню, как учила оформлять и надписывать поздравительные открытки, делать маленькие сувениры из бумаги и картона, как внимательно следила за внешним видом, состоянием тетрадей и учебников, ценила и поощряла красивое и аккуратное письмо. Она ставила в дневнике две оценки: за поведение и прилежание.

Работая рядом с матерью и хорошо зная мою семью, Александра Владимировна уделяла мне больше заботы. Так, случайно я узнал, что новое пальто мать купила мне по ее настоянию, и обновку первой одобрила она. От нее я нередко получал дополнительные задания и поручения, которые с неудовольствием и ворчанием приходилось выполнять. Кто знает, может быть, это полное совмещение одинокой жизни с профессией непроизвольно отложилось в подкорке и объяснило смысл учительства с предельной простотой и наглядностью.

Из всех школьных предметов особенно полюбил химию и English, остальные не затронули. Химия околдовала еще дома, когда упробил отчима купить большую коробку с загадочным названием «100 опытов по химии». После этого поочередно комнаты и веранда превращались в лабораторию и были наполнены дымом и едкими запахами. Я научился собирать несложные установки, вызывать элементарные реакции, получать газы, проделал почти все опыты, описанные Фарадеем в «Истории свечи». Людмила Васильевна, химичка, оценила мой багаж и открыла двери школьной лаборатории. Она доверяла мне подготовку оборудования к урокам, мытьё посуды, разборку поступающих реактивов. Особенное удовольствие я получал, когда демонстрировал в разных классах серию занимательных опытов на тему «Химия облачает чудеса». На глазах изумленных зрителей я «превращал» воду в вино, медь в серебро, извлекал из воздуха дым и воображал себя всемогущим магом, чародеем. Я выучил наизусть таблицу Менделеева и щеголял на уроках точными названиями элементов, бойко писал химические формулы и уравнения.

МетОда Людмилы Васильевны была проста: она ничего не навязывала. Она наблюдала со стороны и как бы говорила: «Смотри, повторяй, учись, пробуй». И это невидимое воздействие оказалось во много раз полезнее, чем прямое руководство. Химиком я не стал, но благодаря химии рано испытал радость открытий и сотворенного собственными руками чуда.

Как сейчас вижу тот урок, когда в класс вошла высокая полная женщина в простых металлических очках; глаза острые, требовательные – новая учительница. С непривычной интонацией она произнесла первые слова на незнакомом языке, и мы узнали, что звать ее Вера Георгиевна, и она будет учить нас английскому языку. Она показала на карте полушарий те страны, где люди говорят по-английски, и мы прониклись уважением к новому предмету. Все 45 минут родная речь чередовалась с английской, эффект путешествия по далеким странам возник сразу и не отпуская до звонка. Была английская народная песенка, считалки, смешные диалоги. Захо-

телось так же свободно, даже небрежно, разговаривать, острить, петь. У многих начинающих интерес к языку пропадает после первых же препятствий. У меня, напротив, разгорался с каждым уроком. Вера Георгиевна умело поддерживала и подогревала мое старание: часто спрашивала, поручала заниматься с отстающими, снабжала книжками с адаптированными текстами, приучала работать со словарем. Когда я набрал порядочный запас слов, мне дали роль Волка в «Красной Шапочке», и с истинно волчьим рвением, без единой ошибки, я сыграл на сцене, надев вместо шкуры вывернутую меховую безрукавку. А в 7 классе предстал перед одноклассниками в образе Робин Гуда – защитника бедняков. Была В. Г. Лебединская незаурядным педагогом – строгим, нетерпимым к разгильдяйству, лени, притворству. Ее властный и звучный голос, иронический взгляд серых прищуренных глаз, которым она высматривала лодырей, сразу создавали в классе рабочую обстановку. Она не злоупотребляла двойками, но несколько насмешливых фраз по адресу провинившихся делали их самыми несчастными людьми.

К весне я настолько уверовал в свои возможности, что самостоятельно написал и отправил в Англию письмо редактору журнала «Girl». 8 мая 1958 г. я получил необычный продолговатый конверт с лондонским штемпелем. На конверте был напечатан мой адрес: Igor Roodoy, 25, Trofimova Street, Novorossiysk, U.S.S.R. Вот что ответил мне Markus Morris, Editor (даю перевод): «Дорогой Игорь, я получил твое письмо, адресованное журналу „Girl“. Ты просишь для переписки адрес девочки. Насколько я понял, ты – мальчик, и боюсь, что не смогу выполнить твою просьбу. Дело в том, что наш журнал предназначен только для переписки читательниц-девочек. Предлагаю воспользоваться списком желающих переписываться в журнале для мальчиков „Eagle“. Если ты согласен, пожалуйста, напиши мне и сообщи про свой возраст и увлечения. Тогда я постараюсь найти для тебя подходящего мальчика». Разумеется, я немедленно написал с помощью учительницы новое письмо и стал с нетерпением ждать ответа. Но ни летом, ни осенью я не получил из Лондона ни строчки. Думаю, письмо перехватили.

После семи классов я собрался поступать в строительный техникум, и Вера Георгиевна решительно высказала свое недовольство: «Тебе надо окончить среднюю школу и в институт, на иняз». Но родители были другого мнения, и я расстался с товарищами и учителями. Впоследствии я не знал трудностей с английским ни в техникуме, ни в университете, а поставленное в школе произношение вызывало одобрение всех преподавателей.

Ровесники

Безусловно, лучшим учеником нашего класса был Володька Потолицын – круглый отличник. Я не завидовал ему, потому что видел: Володька получает свои пятерки заслуженно. Он знал ответы на все вопросы, быстро решал задачи и объяснял так, что учителя, не дослушав, садили его на место с очередной пятёркой в дневнике. Был он хороший товарищ, не зазнавался, помогал слабакам и давал списывать уроки по математике и физике. Зато переводы по английскому и упражнения списывали у меня. Иногда мы вместе возвращались домой из школы: Володька жил в середине улицы Осоавиахима, а я на конце, где пролегла моя Степная, бывшая Трофимова, и я выслушивал торопливые рассказы моего спутника из прочитанных книг. Читал он много и по совету словесницы заполнял читательский дневник. Бывали дни, когда Володька предлагал: «Сыграем в шахматы?» – и мы заходили к нему домой. Он и в шахматы играл так же обдуманно и серьезно, как учился. Я заранее предвидел исход партии и не переживал, получая очередной «мат». А Володька не скрывал торжества победителя. Во время игры его охватывал азарт, и он приговаривал: «Ах, так? А мы тебе вот так! Ну-ка, посмотрим... Сейчас я тебя накажу».



Выпуск 7 класса.

В центре В. Одинаркина, М. Суркова, З. Шишкина

(сл. напр.), В. Зелёв (сидит 4-й спр.), Э. Руд (сидит сл.). 1960

Однажды я случайно выиграл: увлеченный комбинацией, Володька прозевал мой удачный ход. Как он расстроился, разволновался – чуть не заболел, потерял привычную уверенность и стал уговаривать: «Не уходи, давай сыграем еще разок. Не пойму, как я проглядел?» И не отпускал меня до тех пор, пока я не сел за доску и без всякого интереса уступил его напору.

У меня не было врагов и недоброжелателей, как не было поводов для крупных ссор и драк. Те, кого называют коноводами и жожаками, у нас отсутствовали, и даже здоровенные второгодники не бравировали взрослостью и не пробовали силу на слабых. Кого-то забыл, кого-то помню. Славка Втюрин собирал марки, и на переменах мы разглядывали его богатую коллекцию. Витька Стороженко квакал и блеял на зоологии. Петька Ченцов, подражая взрослым, сыпал анекдотами. Эмма Руд изображала взрослую девушку и презрительно отворачивалась от грубиянов. Аркаша Гонский хвастал редким в то время телевизором и пересказывал телепередачи. Людка Лукьянченко мечтала о сцене и была примадонной школьного театра. Костя Ткаченко подкладывал в дневники издевательские карикатуры. Сашка Протасов делал на уроках труда самые красивые указки и дарил учителям. Петька Гужва показывал неприличные фотографии. Лариска Оклеева томно вздыхала и строила глазки. Отличный гимнаст

Андреев защищал на всех соревнованиях спортивную честь класса. Верзила Долбня приносил в спичечном коробке крупных, как чернослив, тараканов и кидал на девчонок. У Долбни я купил однажды за рубль мелочью редкую в те времена жвачку – белую «подушечку» с мятным вкусом; мы жили в портовом городе, и по рукам постоянно ходили импортные жвачки, зажигалки, сигареты, штучные сладости, а то и фото с обнажёнными красотками.

Самым близким приятелем был Витька Зелёв. Забытый родителями, он жил с бабушкой – доброй ворчливой старухой. Витька легко заводился и набрасывался на обидчиков с кулаками, но его предпочитали не задевать. Учился он на тройки, ходил в нарушителях дисциплины. Худой, взъерошенный, с зелеными дерзкими глазами, он высмеивал тихонь и примерных, а я к ним не принадлежал и знал, на каких уроках следует работать, а на каких можно повеселиться. У нас не было тайн, и Витька, на правах более просвещенного, рассказывал мне такие вещи, от которых я покрывался лихорадочным румянцем. После школы мы разошлись в разные стороны, и бывшие одноклассники часто делали вид, что не знают друг друга. Один Витка Зелёв не отвернулся при встрече и бросился на шею.

Побег

Осенью 56-го я пошел в 4-й класс и через месяц задумал побег. Стояли теплые погожие дни. Мать лежала в больнице. Я ходил после школы за покупками, кое-что готовил, встречал отчима, и после ужина мы принимались за стройку. Не заладилось в школе, я получил несколько двоек и скрывал их. На вопросы отчима, который имел привычку расписываться в дневнике, я бодро отвечал: «Всё в порядке, не спрашивали». Вечером к калитке то и дело подбегали мальчишки: «Выйдешь?» – «Отец не пускает», – буркал я, и они на моих глазах продолжали прерванную игру.

Однажды, возвращаясь домой с Колькой Пухальским, мы обсудили наши дела и согласились, что жить совсем худо. Маленький шуплый Колька жил с матерью-одиночкой и хныкал, что мать бьет его по всякому поводу. «Сегодня, наверно, всыплет», – сказал он обреченно, и я знал, что в дневнике Колька несет учительскую жалобу на «плохое поведение». У меня не было никаких преимуществ, мы оба, в подробностях, представили ближайшие дни и часы. И тогда я выпалил: «Давай убежим!» – «Куда?» – «На юг. По шоссейке дойдем до Сочи – там зимы не бывает, тепло. Будем рыбу ловить и продавать, фрукты собирать. Не пропадем». Моя уверенность подавила колебания друга, призрак свободной жизни поманил, и он согласился. Еще несколько дней мы обсуждали подробности предстоящего побега: копим деньги, запасаем побольше хлеба и картошки; я беру учебники, чтобы продолжать учебу; днем едем на попутных и пешком, а ночуем в лесах.

Наступил день, когда добросовестно отсидев утреннюю смену, мы в последний раз пришли домой. Я положил в портфель учебники и дневник, а в сумку – несколько картофелин, хлеб, соль и спички. Знал, что отчим держит деньги под матрацем, и вытащил оттуда 25 рублей, а на столе оставил записку: «Мама и папа, я уйду насовсем. Спасибо за то, что вы меня кормили».

Мы встретились в условленном месте и двинули на восточный берег бухты, где от цемзаводов начинается извилистое Сухумское шоссе. Путь был дальний. Когда в цементном тумане подходили к заводу «Октябрь» на городской окраине, солнце уже садилось. Мы высмотрели тропинку на склоне голой Сахарной головы и полезли вверх. Внизу, у моря, остался изрешеченный пулями остов железнодорожного вагона, полоска шоссе, гудящий завод. Над нами тянулись уступами белые карьеры разработок и на фоне гаснущего неба – волнистая линия Маркотхского хребта. Мы остались одни.

С той площадки, на которой мы остановились, отчетливо просматривалась вечерняя бухта и противоположная сторона. Мы находили знакомые улицы, здания и перекрикивали друг друга: «Смотри, башня на горке! Вон там, левее. А церковь нашел? Наша школа!»

Стемнело, развели костер и стали поджаривать насаженные на прут куски хлеба. Гадали, что будут делать родители, и не сомневались, что начнут искать. «Ничего, – успокаивал я. – Завтра утром мы уйдем из города, и нас никто не заметит». Колька промолчал. Между тем, ближние предметы исчезли из глаз, нас обступила непроницаемая южная ночь. Похолодало, и мы сразу догадались, что совсем не готовы к длинному путешествию: хлеб не насыщал, одежда не грела, спать на камнях невозможно. Сидели всю ночь у тлеющего костра, скорчившись в три погибели. Колька не выдержал: «Давай вернемся». – «Да ты что! – прикрикнул я. – Испугался? Дальше легче будет. В лесу сделаем шалаш, травы настелем». – «Хочу домой», – и я понял, что друга не отговорить, он сломался.

Возвращение в самом начале было позором, но идти в одиночку я не решился. Захлестнула досада и злость: «Какой ты пацан? Сдрейфил, сопли пустил», – набросился я на Кольку. Он и не оправдывался, сжался в комочек, засунул руки подмышки и грустно смотрел на огонь. На заре, продрогшие и измазанные сажей, мы спустились вниз, молча проделали обратный

путь и разошлись по домам. Меня встретил отчим, потребовал все рассказать, но не наказал и от матери скрыл. На следующий день я привычно сидел за своей партой.

Наставник

По общему мнению, самым заметным из учителей моей школы был историк Тимофей Иванович Гончаренко. Ему было под 40. Среднего роста, плотный, в неизменном темно-синем лоснящемся костюме, он сразу обращал внимание степенной походкой, горделиво-прямой осанкой, значительным выражением полного, до синевы выбритого, лица. Он носил золотое пенсне и смотрел на всех немного свысока, покровительственно. Рядом с ним и взрослые, и мы, дети, заметно тушевались, хотя он никогда не повышал голоса и не сердился. Все, без исключения, сознавали важность его фигуры.

Осталась в памяти будничная сценка. Десятиклассник – шалопаи перехватил на лестнице историка и стал выпрашивать оценку: «Ну поставьте четверку, что вам стоит? Меня могут в стройбат направить». Тимофей Иванович приостановился, сверкнул из-под пенсне уничтожающим взглядом: «Зачем же засорять стройбат? Я бы тебя, Петухов, отправил в штрафбат», – и прошествовал мимо.

Преподаванием истории он не увлекался, я не помню его пространных объяснений и рассказов. Как правило, после опроса по учебнику Тимофей Иванович задавал урок на дом и со словами: «А теперь читаем, как мучили еретиков», – вытаскивал старую книгу о средневековье. «Кто сегодня будет читать – Анисимова или Рудой?» – спрашивал учитель и в зависимости от выбора вручал чтецу.

Истинную страсть Гончаренко вкладывал в литературу: он был известным детским писателем и журналистом, его небольшие книжки рассказов издавались в Краснодаре и имелись во многих семьях. Работая в школе им. Пушкина, учитель считал своим долгом приобщать к словесности, развивать литературные вкусы и способности школьников. Его любимым детищем стало литературное общество «Алые паруса», где он собрал десятки одаренных ребят. Я учился в 6 классе, когда учитель предложил и мне описать какой-нибудь случай из жизни и принести сочинение на заседание общества. Я что-то нацарапал, и меня приняли.

Как ни жалки, беспомощны были наши писания, Т.И. с присущим ему великодушием и терпением исправлял рукописи, придавал им литературную форму и сдавал в печать. Да-да, творчество «парусников» складывалось не в архив, а публиковалось в ежегодном школьном альманахе. Догадываюсь, какую уйму сил и времени отнимал этот альманах у писателя. Наши стихи, рассказы, очерки, сказки перепечатывались на машинке, иллюстрировались школьными художниками и переплетались в огромный нарядный фолиант – предмет гордости юных литераторов и наставника. Не знаю, сохранились ли эти альманахи, там было достаточно детских шедевров. Помню, как сияющий издатель носился по школе, показывая всем очерк моего одноклассника Сёмки Коднера «В порту» – его вскоре напечатала городская газета. Так на заре жизни я получил представление о «ЗОЛОТОЙ РОЗЕ» Паустовского и высокой ответственности пишущего человека. А накануне 20-летия сам отнес в редакцию «Новороссийского рабочего» первую корреспонденцию – заметку о фильме С. Крамера «Нюрнбергский процесс». Ее напечатали дословно, не изменив ни запятой.

С этой публикации начались мои регулярные выступления в местной печати.

Прошли годы. В сентябре 1965 меня приняли по подсказке матери в школу №2 на Куниковке преподавателем производственного обучения. Тимофей Иванович тоже трудился в этой школе, и мы стали коллегами. С моим юным видом вряд ли старшекласники воспринимали меня всерьез. На уроках воцарилась раскованная, искрящаяся юмором и фантазией, атмосфера: я играл на учеников, они подыгрывали мне. Рассказывал много кулинарных историй, особенно подробно раскрыл молочную кухню, смешил гастрономическими курьезами и анекдотами. А между тем задумывался: кем же я буду в школе? чему научу? И вот тут-то снова в мою судьбу вмешался Тимофей Иванович. Зная мою давнюю любовь к музыке, он сразу

привлек меня к устройству литературно-музыкальных вечеров для старшеклассников. При каждом удобном случае историк стал подталкивать к поступлению в Ростовский университет. «Там сильный исторический факультет, где меня хорошо знают, – говорил он. – История даст тебе знания и кругозор, это необходимо для сознательной жизни. Надо понимать мир, в котором мы живем». И я начал готовиться к вступительным экзаменам. Накануне отъезда в Ростов Тимофей Иванович снабдил меня собственной книгой и рекомендательным письмом для передачи проректору. Летом 66-го я получил на вступительных экзаменах пятерки по литературе и истории и четверку за сочинение и был принят на заочное отделение истфака.

Я виноват перед учителем и сильно – понимаю это только сейчас. Могли бы сойтись ближе, душевнее, но я не сделал ни одной попытки и, в сущности, ничего не узнал, не понял в этом интересном сложном человеке. Думаю, что он в таком сближении нуждался.

Впрочем, не таковы ли отношения между всеми учителями и учениками: всегда односторонние, от старшего к младшему? А как хочется иного!

Вознесенская

В 1960 я закончил 7 классов с похвальной грамотой и оставил школу. Отчим настоял: «Хватит баклуши бить, надо получать профессию». Мать не прекословила, и я сдал документы в коммунально-строительный техникум.

12 апреля 1961 я сидел на лекции. Вдруг резко распахнулась дверь, и в кабинет ворвался старшекурсник: «Слышали? Наши в космосе!» Никто ничего не понял. Вслед за преподавателем высыпали в коридор и по лестнице сбежали в вестибюль. Там уже гудела толпа молодёжи. Секретарь комитета комсомола открыл митинг и срывающимся голосом сообщил о первом космическом полёте. На улицах было не протолкнуться, и у всех на устах одно имя – Гагарин.

В техникуме учился ровно, старательно, но ясно понимал: это не моё. Мне исполнилось 15 лет, силы возросли, многое уже знал, умел, и прежнее положение в семье не устраивало. А родители добивались одного – послушания и исполнительности, им так было удобно. Мечты о самостоятельной жизни, без приказов и оглядки, настолько запали в сознание, что я решил действовать. Из газеты узнал о Вознесенском техникуме молочной промышленности и отправил туда заявление с просьбой о переводе. Вскоре получил положительный ответ и подступился к матери. Я убедил её неотразимым доводом: и сам буду сыт, и вам помогу. Въевшаяся бедность, привычка экономить каждую крошку заставляли рано думать о верном куске хлеба, эта забота была у нас общей. Впрочем, никто и не собирался меня удерживать.

В конце августа мы с матерью приехали в Вознесенскую. В общегититии свободных мест не было, и мать устроила меня к одинокой старухе Соне. Вознесенская – большая казачья станица в Лабинском районе, отлично спланированная и застроенная, с широкими улицами и огромной площадью, где вздымалась краснокирпичная громада заколоченного храма Вознесения, освящённого в 1906 г. Асфальт отсутствовал, и дождливой порой я месил грязь в тяжёлых кирзовых сапогах. В окрестностях виляла мутная, как все на Кубани, река Чамлык, раскинулись густые заросли терновника и тальника.

Вознесенская берёт начало с Ново-Донского укрепления, заложенного в 1841 г. в разгар Кавказской войны. Первыми поселенцами были донские казаки, позже прибыли крестьяне из великорусских губерний. Памятная веха в истории станицы – визит Александра II в 1861 г.: царь знакомился с новыми владениями своей империи. В 1910 г. в станице проживало 15560 человек. В 1874 г. открылась школа садоводства и огородничества, реорганизованная в 1920-е годы в сельскохозяйственный техникум. В 1930 г. он был преобразован в техникум маслодельно-сыродельной промышленности, ныне – колледж молочной промышленности. За 75 лет в моём учебном заведении подготовлено свыше 14 тыс. специалистов.

Несколько магазинов, столовая, библиотека и холодный клуб – вот и все места, где собирались колхозники. В парке заложили дворец культуры, но дальше фундамента стройка не двинулась, и глыбы розового туфа годами мозолили глаза станичников. Перед правлением на фанерных щитах красовалась во всех видах кукуруза – стройная кокетливая девушка в зеленом наряде с челкой. Стихи под картинками внушали, что «кукуруза – это мясо, это масло, молоко».

С кукурузой я познакомился в первые же дни сентября. Все учащиеся с преподавателями, кроме выпускников, были мобилизованы на уборку богатого урожая. Двухметровые мощные стебли тянулись длинными рядами и сливались в зеленое море. Чтобы выломать крупный початок, требовалось значительное усилие. Я прошел свой ряд позже всех и свалился в изнеможении на край поля. Не обрадовал даже колхозный обед – кружка молока с ломтем хлеба: трудно было встать и идти на раздачу. Лишь через две недели я освоился и втянулся в трудовые будни.

40 месяцев я провел в станице, эти месяцы сделали меня взрослым человеком. Я жил в условиях свободы. Не было назойливого контроля, давления, наказаний: хочешь – учись,

не хочешь – гуляй. Одна угроза маячила перед беззаботными и нерадивыми – отчисление из техникума. Но эту крайнюю меру применяли редко, в исключительных случаях, обычно стращали и прорабатывали. Помню, как одна из матерей уломала мою хозяйку взять на постой сына-шалопаю. Он жил в общежитии и не только запустил учебу, но ударился в ранний разгул. Мать надеялась, что рядом со мной мальчишка исправится. Новый квартирант Алеша, видимо, потешался над моими конспектами и затворничеством. В минуту откровенности он спросил: «Катьку Булатову знаешь?» – «Знаю». – «У нас все пацаны с нею перепробовали». – «Как перепробовали?» – «Очень просто. Она сама предлагает и дает сколько хочешь». Я уже прочитал «Яму», и мне хотелось узнать подробности. Сделав усилие, я придвинул «Аналитическую химию» и сказал: «Давай-ка уроки делать, уже поздно». Алексей разочарованно отвернулся и больше не обращался ко мне. Мы вели отдельное существование в одной комнате, пока парень не съехал на другую квартиру.

Зимой приезжали на сессию заочники – мастера, механики, лаборанты, и наш коммунальный дом превращался в беспокойное общежитие. Хозяйки радовались случаю подработать и сдавали все углы и свободные кровати. Я заглядывал к соседям и наблюдал, как женщины извлекали из сумок тушки жирных гусей и уток, головки сыра, куски масла и делили провизию на две части: для себя и преподавателей. В комнате бабы Сони, рядом со мной, расположился молодой механик Толя. Я делал ему контрольные, натаскивал к экзаменам, а он расплачивался со мной банками сгущенки. Вечерами, засидевшись за столом, мы резво вскакивали и затевали яростную борьбу. Летели на пол подушки, трещали кровати, Соня с притворным ужасом металась из угла в угол. Толя распластывал меня на полу и спрашивал: «Сдаешься?» – «Ничья», – отвечал я и напоминал: «Тебе завтра экзамен сдавать».

Казачка

Широту, щедрость русской души я узнал, когда поселился у Кати Кармазиной. Кате было за семьдесят, но никто не назвал бы её старухой. Сильная и выносливая, она ловко справляла всю деревенскую работу, помогала взрослым детям, была бессменной письмоноской. Как говорили станичники, «Катю каждая собака знает». Я никогда не видел её задумчивой и обеспокоенной, казалось, заботы обходили её стороной. Она просто не любила выпячивать свои болячки да ещё козырять ими, как это делали другие бабы. Круглое смуглое лицо, покрытое сеткой морщин, всегда улыбалось; чёрные, с отливом, глаза глядели с молодым задором. Там, где Катя появлялась, сразу раздавались взрывы смеха и высказывали, как искры, острые словечки. Только я знал, что опорожнив тяжёлую почтовую сумку, Катя открывала бесшумно дверь, снимала заплётённые башмаки и ложилась на диван лицом к спинке – перевести дух. Через час, свежая и бодрая, она звала меня «вечерять».

В Катином домике меня словно подменили, я стал таким же смелым и проказливым. Как-то осенним вечером я напялил Катину юбку и кофту, приделал пышные груди и предстал перед хозяйкой в облике соседки Нюрки – хитрой, скупой и мужелюбивой бабы. Катя опрокинулась на диван и зашлась в припадке оглушительного хохота: «Ой, не могу, ох, насмешил, ещё, Игорёк миленький... Вылитая Нюрка!» Практикуясь почти каждый вечер, я делал успехи, и Катя иногда приглашала на представление родственников. Я, впрочем, не смущался и с нарастающим озорством входил в образ.

В застолье Катя открывалась затаённой, поэтической стороной души. Все знали это, и после первых рюмок кто-нибудь обязательно предлагал: «Катюша, начинай». И она, сразу забыв о веселье, сильным покоряющим голосом затягивала любимую песню. Компания, так же серьёзно и прочувствованно, подхватывала. Катя знала много старинных песен, пела их одна и на пару с дочерью, но эта всегда была наготове. Я запомнил её произвольно и передаю дословно.

*Ах, вспомни, мамаша, ту тёмную ночь,
Когда дочки дома не стало.
Красавец-бандит увозил мою дочь,
Ушла – ничего не сказала.
Он клялся-божился, что будешь моей,
И в душу он крался змеёю.
Потом насмеялся злодей надо мной
И выгнал на двор меня зимою.
Стою под забором, а ночь холодна.
Вдруг едет купец полупьяный:
«Ах, здравствуй, ах, здравствуй, красавица-дочь!
А кто ж тебя выгнал зимою?
Поедем, красотка, кататься со мной
В ближайший кафе ресторана».
Не знаю, что дальше было со мной.
Наутро в больницу попала.*

Так неразрывно с песней и живёт в моей памяти вознесенская казачка Катерина Кармазина.

Самообразование

Я сделался самым прилежным посетителем библиотеки. Это сразу заметила библиотекарша и предложила подготовить один доклад, другой, третий – обычно к знаменательным датам и юбилеям великих. Я беспрепятственно проходил в хранилище и сам выбирал книги. Когда одной библиотеки показалось мало, пошёл в станичную и обратился к толстым томам энциклопедии и «Всемирной истории». Они понадобились при подготовке конкурсной работы о развитии техники. К моему огорчению, конкурс не состоялся, поскольку единственную работу представил только я.

В первый же год я плотно засел за книги Ленина, хотя никто этого не требовал. Главное место в конспектах занял его знаменитый труд «Государство и революция». Я увидел брошюру в витрине газетного киоска и купил. Чем дольше читал, тем больше разгорался интерес, главные мысли книги звучали для меня откровением и не потеряли своей привлекательности по сей день. Как неожиданно, что под подушкой умирающей 94-летней М. Шагинян лежали 2 книги: Новый Завет и «Государство и революция». Мудрая старуха безошибочно определила главный источник марксизма.

Только много позднее я понял, что государство – это та раковина, которую несёт на себе улитка: разять их невозможно. Но пафос преодоления государства, этого бюрократического общежития; предложения по ликвидации чиновничьей касты путем привлечения способных людей из народа; требования отмены государственных льгот и привилегий; план построения общества подлинного социального равенства и свободы – захватили меня безраздельно. Мне захотелось донести идеи Ленина до моих товарищей. Их было четверо: два Николая – Александров и Боченин, Юра Печерский и Володя Денисов, остальные – девушки и женщины. Парни смотрели на жизнь спокойно и трезво. Они отслужили в армии, поработали на производстве и сознательно выбрали техникум. То, что я пересказывал, они восприняли как хорошо им известное: «Так и должно быть, а в жизни, посмотри, всё наизнанку». Непривычными для них были острота и смелость ленинских суждений, так не похожих на трескучую коммунистическую пропаганду.

Наряду с ленинскими работами, я усердно штудировал книги по культуре и основательно познакомился с мировой музыкальной литературой и русским искусством: за 2 года заполнил две толстые тетради. Мне не сиделось на месте, приобретенные знания рвались наружу. У словесницы Евгении Давыдовны была небольшая коллекция пластинок с записями классики, и она предложила ими воспользоваться. Так в техникуме начались музыкальные вечера. Несколько раз в году я собирал в одном из кабинетов любознательную молодежь и рассказывал о Даргомыжском, Мусоргском, Бородине, Чайковском... Музыкальные вечера перемежались лекциями о сокровищах Третьяковки, я сопровождал их кадрами диафильмов. Ребята слушали внимательно, задавали вопросы, делали записи. И я, и они впервые были увлечены познанием прекрасного.

Преподаватели

Технические дисциплины мне не нравились, я занимался ими небрежно. Электротехника, теплотехника, ТММ (студенты шутили: там моя могила), технология металлов – я не знаю, как их сдавал и получал удовлетворительные оценки, а по сопромату и теплотехнике – даже хорошие. Преподаватели были из инженеров, им не хватало педагогической подготовки. Они знали свой предмет, но держались отстраненно, излагали деловито и сухо, списывали доску вереницей малопонятных формул. Выдадут положенную тему – и до свидания. Историю вели один за другим молодые выпускники университета. Знания были жиденькие, и обыкновенно они заполняли уроки анекдотами из студенческой жизни. Однажды я уличил историка в непростительной ошибке. Упомянув «Правду», он сказал, что это была нелегальная газета большевиков. «Нет, легальная, – крикнул я с места, – и каждый номер проходил цензуру». Учитель заспорил и пообещал: «Я уточню». На следующем уроке он признал свой промах, но наши отношения не испортились, я по-прежнему получал пятерки.

Директор Урюпин редко появлялся на глаза и представлял собою мелкого невыразительного чиновника. Всю текущую работу направляла опытная и расторопная М. Слинко – зав. учебной частью. Ее предмет «Технология молочных продуктов» был для нас основной и изучался особенно старательно.

Колоритной фигурой осталась в памяти Зоя Федоровна Семенец, наша наставница – седовласая пухлая старушка с круглым полным лицом и цепким взглядом. В 30-е годы она закончила столичный вуз, училась у печально известной Ольги Лепешинской и весьма гордилась этим. Не помню, чтобы З. Ф. смеялась, даже улыбалась редко и снисходительно. Хорошо поставленный голос звучал твердо и уверенно, и вся она: важная, представительная, в облегчающем черном платье – вызывала к себе невольное почтение. Ее супруг, одноногий инвалид Вианор Фадеевич, требовал многократно переделывать большие чертежи на ватмане и доводил студентов до отчаяния. Когда он забраковал в третий раз мою работу, я поставил на пол настольную лампу, разместил над ней оконное стекло и быстро скопировал чертеж на новый лист ватмана. Сама Зоя Федоровна вела у нас микробиологию и органическую химию по довоенному потрепанному учебнику. Она открывала книгу на нужной странице и, подглядывая из-под очков в текст, внушительно пересказывала содержание. На экзамене она поставила мне тройку, а я был уверен, что знаю химию не хуже преподавателя, потому что читал тот же самый учебник. Зато в характеристике для военкомата старушка отметила, что я исполнительный и увлекаюсь искусством. «Вы даже пергаментную прокладку в стаканчик вырезали по форме доньшка, а вон Денисов просто взял и сунул бумажку», – кивнула она в сторону Володи Денисова.

Раз в месяц мы собирались в лаборатории З. Ф. на дегустацию молочных блюд, причем блюда эти готовили сами студенты. Разумеется, мы соревновались в оригинальности и мастерстве, всем хотелось заслужить одобрение товарищей. Продукты покупали на рынке и в столовой, а рецепты искали в новой, богато изданной книге «Молочная пища». Я принес на заседание клуба суфле из голландского сыра, яиц и масла с зеленью. Девушки увидели запеченные желтые квадратики и разочарованно сказали: «Мы что, омлета не ели?» Отведали и сменили гнев на милость: пикантный и нежный вкус.

Неприступный вид З. Ф. был обманчив. Она неослабно следила за нашими успехами, проводила воспитательные собрания, оповещала родителей. Под ее бдительным надзором все мы подтягивались и исправляли ошибки. На выпускном вечере наставница позволила себе впервые расслабиться и сидела улыбочивая, добродушная, словоохотливая. Она довела группу до дипломов без потерь и заслуженно принимала многочисленные благодарности. «Знаю, что

у многих вызывала изжогу, – сказала она на прощание. – Завтра вы будете мастерами, технологами и еще не раз меня вспомните, но уже по-другому». Умная старуха знала, что нас ожидает.

Товарищи

Ровесники всегда выясняют отношения, тут неизменно лидеры, покорные и гонимые. Избежал этого «заговора равных» и развивался беспрепятственно. С 14 лет я попал в общество молодых мужчин и женщин, которые пришли из армии, с заводов истроек. Для них я был как младший брат и пользовался их покровительством, расположением, поддержкой. Я признавал возрастное преимущество старших, они спокойно воспринимали моё ребячество, характер и склонности. Мне сразу отвели заслуженное мною место и никогда на него не покушались.

Наша группа считалась в техникуме самой талантливой: все девчата пели и танцевали, Коля Боченин проникновенно читал любимого Блока и не расставался с синими томами, Коля Александров славился русской пляской. Душой коллектива был Юра Печерский – музыкант-аккордеонист и неутомимый организатор. Он служил в ГДР, где руководил армейским ансамблем, умел без унижений подчинять своим требованиям, быстро составлял и ставил на сцене красивые концертные программы. Я близко сошёлся с этим открытым доверчивым парнем, нас породнило сходство характеров и любовь к музыке. Одно время мы даже жили и столовались вместе у бабы Груни. На репетициях и концертах Юры я получил крепкие навыки хорового и ансамблевого пения, усвоил его стиль общения с самодеятельными артистами. Позднее, в школах, когда я сам выступил в роли музыкального руководителя, мне пригодился этот разнообразный опыт.

В последний год я подружился с Колей Александровым. Он был старше на 7 лет, имел семью, и время от времени к нему приезжала миловидная жена с дочерью-малюткой. Коля был хорош собой: среднего роста, поджарый, сильный и гибкий, ходил пружинистой легкой походкой. Чистое правильное лицо с голубыми глазами привораживало, волнистые темно-русые волосы хотелось погладить. Он следил за собой, никто не видел его небритым и неряшливым. Обычные брюки, пиджак, белый шарф сидели на нем так, словно их подгонял первоклассный портной. Когда Николай выходил к доске отвечать урок, все женщины прекращали свои занятия и устремляли взоры на его статную фигуру. Он знал себе цену и держался горделиво, близко никого не подпускал, на женщин смотрел насмешливо и говорил с ними небрежно, как с малыми детьми. Резкая, грубоватая Валя Гук, бойкая на язык хохотушка Вера Кривицкая не выносили его манеры, постоянно вступали в споры и отпускали язвительные реплики. В этом случае Коля иронически улыбался, обнажая белые ровные зубы, произносил: «Что с вами толковать? Вы этого никогда не поймете», – и демонстративно открывал конспект.

И этот самый Николай, который у всех вызывал зависть, смешанную с досадой, не только заинтересовался моей особой, но и сам пошел навстречу. Сложных, умных разговоров между нами не было, был магнетизм взаиморасположения и доверия – то, что позволяет продолжать себя в другом существе. Повсюду мы появлялись вдвоем: сидели за одним столом, обедали в столовой, занимались в библиотеке, разгуливали по станице, ходили поочередно в гости и засиживались допоздна. К нашей совместной жизни так привыкли, что прозвали «папашей» и «сынком». Дружба с Николаем поднимала меня в собственных глазах и дала впервые почувствовать силу и благо мужской привязанности. Я многому у него научился, в нем для меня воплотилось то состояние, которое обычно именуется «старший товарищ». Он не пил и не курил, не признавал матерщины и чрезвычайно дорожил своей репутацией. То, как он ходил, говорил, раскрывался, вызывало мое восхищение – я невольно стал подражать. Сам того не сознавая, я проходил школу общения, учился понимать другого человека, угадывать его желания и настроение.

Со мной Николай вообще был учтив и мягок, я не помню ни одной размолвки, ни одного возбужденного разговора. Только временами, когда прорывалась моя глупая горячность, он останавливал меня: «Стоп, пацан, не торопись, подумай». Однажды он дал мне совет: «Никогда

не унижайся и не унижай», – и я не раз вспоминал эти слова; не столько унижал сам, сколько по слабости унижался. Другой совет я тоже не забыл: «Не позволяй женщинам руководить собою, ты перестанешь быть мужчиной». Но мне казалось, что с женой он слишком суров и строг. Она, бедняжка, старалась угодить, вызвать улыбку, заглядывала в его глаза с покорным умилением, а он сухо, отрывисто отвечал, задавал вопросы и никогда не улыбался. Он не затрагивал в наших разговорах семейную тему, но я догадывался, что в его любви скрыта какая-то загадка.

На выпускном вечере мой друг в последний раз мелькнул ярким видением. Когда преподаватели и выпускники изрядно захмелели, он вышел внезапно из боковой двери в кумачовой рубахе с синим кушаком, выждал, пока пирующие развернутся в его сторону, пригладил волосы, широко развел руки, словно обнимая всех, и пошел отбивать мелкую упругую дробь. Не успели зрители опомниться, как его подвижное, ловкое тело, взлетая и опускаясь, заполнило все свободное пространство. Волны горячего воздуха, поднятые танцором, ударили в лица и заставили их неузнаваемо измениться. Перед глазами полыхало пламя разгорающейся пляски, и я забыл, где и с кем пребываю; перевел дух, когда это пламя так же внезапно погасло, как вспыхнуло.

Через час мы обнялись и разъехались навсегда – каждый в свою сторону.

Подруги

В группе только три девушки были мои ровесницы. Я сразу заметил Валу Коваль – высокую, круглолицую, кареглазую. Она тоже посматривала на меня, однако держалась на расстоянии, холодно. Случай помог объяснить ее поведение.

Окончание второго курса мы отметили вечеринкой в общежитии. После первых тостов все разгорячилось и загалдели, потом пели любимую «Песню о тревожной молодости», финскую «Рулу» и танцевали летку-енку. Вдруг девушки кинулись к Вале – ей стало плохо. Ее взяли под руки и повели на свежий воздух. По дороге Валу стошнило. Я сидел на противоположном конце стола и слушал, как раскрасневшийся Боченин декламировал:

*Вчера твое я слышал слово,
С тобой расстался лишь вчера,
Но тишина мне шепчет снова:
Не так нам встретиться пора...*

Неожиданно от женской группы отделилась Неля Гончарова, подошла ко мне и попросила: «Игорь, выйди, пожалуйста. Валя не хочет, чтобы ты ее видел». Я поднялся и ушел домой. Я понял причину Валиной сдержанности: она боялась уронить себя в моих глазах и обдумывала каждый шаг, каждое слово. А мне так хотелось, чтобы она выделила меня, показала свое предпочтение.

Сам я не осмелился ухаживать за гордой и осторожной девочкой. Ее образом было навеяно стихотворение «Мечта», где есть такие строки:

*Я тебя, вчера увидев,
Часто вспоминал,
Твои руки, голос нежный
Долго ощущал.
Карих глаз твоих сиянье
Вижу и сейчас,
Шорох платья голубого
Слышится в ушах.*

Зато с рыженькой веснушчатой Аней Михайловской отношения наладились легко и просто. Она не скрывала симпатии, подходила и вступала в разговоры, предлагала конспекты и учебники, подсаживалась за мой столик в буфете. Я быстро привык к Ане, мы стали прогуливаться вечерами, вместе ходили и возвращались с завода. Аня любила петь и умело подражала эстрадным певицам: эффектно выходила на клубную сцену, ритмично двигалась, пыталась создать нужное настроение. Ее музыкальность особенно подкупала меня, я загорелся и сочинил для нее романс на стихи Байрона «Ты плачешь – светятся слезой...» и песенку на собственные слова: «Вечер тих и ясен, Звезды на воде. Хорошо с любимым плыть мне по реке» – 3 куплета с припевом. Аня прослушала и предложила: «Мне кажется, ты сам должен спеть романс – он для мужчины». – «Что ты! – испугался я. – На сцене ты незаменима, а я робею». И Аня согласилась. Так в первый раз я услышал свои сочинения в концертном исполнении.

Майскими днями мы уходили на берег реки, устраивались под ивами и готовились к экзаменам. Однажды я захватил с собой кастрюльку с борщом из лебеды, она попробовала и похвалила: «Вкусно. Ты будешь хорошим мужем. А я не люблю готовить, все артисты едят в рестора-

нах». Удивительно, но я ее ни разу не поцеловал – удерживал юношеский стыд. И моя подружка не делала попыток, держалась подчеркнуто скромно и уважительно.

Володька Денисов, потрепанный жизнью 30-летний мужик, спросил однажды: «Ну, что у тебя с Анькой?» – «Встречаемся». – «И только? Эх ты, зелень, такую девчонку упускаешь». Я догадывался, к чему он клонит, и вспылал: «Тебе какое дело? Занимайся своими бабами». – «Мне тебя жалко, птенец, да и девчонку мучишь. Прижал бы ее на травке, пощупал – они любят это. Вот я помню, после дембеля...» И он пускался в любимые воспоминания, которые я знал наизусть. За меня заступился Юра Печерский: «Оставь пацана в покое, у каждого свои понятия. Я сам в его годы теленком был и не жалею. Ты, Игорек, никого не слушай, в этих делах советчика нету», – и я с благодарностью ему улыбнулся.

Однако Денисов знал, что говорит: наши отношения вскоре расстроились. У Ани появился новый друг из группы механиков, и вечерами они гуляли в обнимку по станице.

При встречах девушка спокойно смотрела на меня, отвечала: «Добрый вечер», – и они проходили мимо. Ни зависти, ни обиды я не испытывал. Было безотчетное чувство своей и ее правоты, не ущемленной свободы. Перечитываю детские беспомощные стихи тех лет и вижу: какими бесплотными, книжными были мои представления о женщинах и первой любви. Такими они остались на всю жизнь.

Над дипломом мы работали вместе с Лидой Фроловой. Она узнала, что моя хозяйка Катя уехала к родне, и попросилась: «Непустишь на квартиру? В общежитии я ничего не делаю: все время отвлекают». – «Какой разговор, перебирайся», – и Лида по утрам стала приходить в Катин домик. Самая старшая в группе, она имела непререкаемый авторитет. Из отрывочных рассказов я знал, что Лида объездила всю страну, работала на стройках штукатуром и маляром, мастером, в заводском профкоме. Ей были несвойственны колебания и нерешительность. Будучи старостой группы, Лида вступала в переговоры с преподавателями и руководством завода, и самые строгие выслушивали от нее пожелания, шли на уступки. Она подходила к людям по-своему, душевно и в то же время требовательно. Расположит, очарует товарища и твердо отдает приказ: «В общем, завтра останешься на два часа и закончишь работу. Я должна отчитаться». И возражений не было. Каждый чувствовал в ней силу характера и запас житейского опыта, даже у мужчин не хватало духу спорить или отказаться.

Фролова удивила меня в первые же дни. Она вошла в кабинет и объявила: «Внимание! Начинаем подготовку к шефскому концерту. Мой номер – ария Снегурочки». И выдала такую звонкую и чистую фиоритуру, что я рот раскрыл. «У тебя оперное сопрано, – сказал я восхищенно. – Ты пела?» – «Еще как. Ни один концерт на заводе не проходил без моего выступления. Занималась в вокальном кружке, голос поставила певица-пенсионерка». Музыка нас подружила. Она сразу заметила мою симпатию и ответила добрым вниманием. Девушки даже ревновали: «У тебя Карпусь в любимчиках ходит» – «Карпусь не подводит меня и выполняет все, что положено», – парировала Лида.

Несомненно, в ней жила талантливая актриса. Иногда она напускала на себя такую робость и застенчивость, что прямо на глазах превращалась в 14-летнюю девочку. Этот прием безотказно действовал на преподавателей, завхоза, мастеров, и она получала все, что хотела. Если кто-нибудь пытался использовать ее, она ровным голосом, бесстрастно произносила: «Больше ты ничего не хочешь? Вот и славненько, иди погуляй», – и вымогатель «отваливал». На практике она всегда устраивалась на работу чистую и необременительную. Когда я заметил это, Лида мягко оправдалась: «Я наработалась, Игорек, пусть другие пашут. Знаешь, сколько за нашими спинами дармоедов?»



Лида Фролова, Нэлли Гончаренко, Валя Гук, Вера Кривицкая
(сл. напр.). Вознесенская, 1963

Дни напролет мы работали за одним столом. Я заготавливал продукты и дрова, Лида готовила обеды. Я помогал делать расчеты, она неплохо чертила. Поздним вечером провожал свою «квартирантку» в общежитие, а ранним утром встречал.

Однажды она пришла сердитая и с порога спросила: «Феньку знаешь?» – «Соседку?» – «Ее. Иду, а она у калитки меня поджидает. Только поравнялась, ехидно так спрашивает: Лида, чи справи вы с Катькиным квартирантом поженились? Я и бровью не повела, ты меня знаешь. – А что, говорю, разве плохой парень? – Парень-то добрый, отвечает, да у тебя сколько таких було? Ну, я ей и врезала. Було много, говорю, но такой дуры не попадалось. В общем, Игорек, надо закругляться, а то станица сбесится». Мы знали, что ходят сплетни о наших совместных занятиях, и посмеивались. Даже нравилось дразнить «общественное мнение». Сидели за стол и шутили: «Ну что, жена, рыба готова?» – «Подожди минутку, муженек, еще не остыла».

Перед Новым годом вернулась Катя. Вошла, сняла плюшевую телогрейку, развязала платок и, поправляя волосы, заговорила: «Пока шла – чего только не наслушалась. Ты, Лида, не ходи больше. Зачем мне на старости такая слава?» И Лида, быстро уложив вещи, без всяких объяснений ушла. Перед отъездом, на автовокзале, ко мне подошел станичный фельдшер Иван Макарович – плешивый, с набрякшим носом и бегающими глазами, старик. Он подмигнул, осклабился и спросил: «Ну, как студент, хорошо жил с Фроловой?» Я отвернулся и направился к автобусу.

Завод

Первая запись в моей трудовой книжке сделана 4 февраля 1962: меня определили учеником на Вознесенский маслосырзавод. За 40 месяцев учебы я заработал 15 месяцев производственного стажа. Профессиональная подготовка была поставлена в техникуме образцово, причем государству не стоила ни копейки. Учебный завод, за исключением главных специалистов, обслуживали полностью студенты и получали при этом только стипендию.

Я переступил заводской порог и оробел: грохот машин, переплетения труб, непонятные движения людей. Николай заметил мое смущение и подтолкнул вперед: «Что, страшно? Через месяц будешь таким же спецом, как они», – и кивнул в сторону аппаратчиков. Я надел халат, деревянные подошвы-«цоки» и прошел в сыродельный цех. Здесь впервые увидел, как огромная масса молока превращается в усеченные конусы кобийского сыра. В цехе трудились две женщины средних лет. Они доброжелательно встретили новичков, объяснили смысл своих действий и предложили выполнять подсобные операции: мыть и дезинфицировать оборудование, подготавливать формы-корзины, переворачивать сырные головки. Через месяц наших наставниц перевели в хранилище, и мы с однокурсницей Любой стали управляться одни, без подсказок и надзора. Рассольный кобийский сыр прост в приготовлении, не требует длительной выдержки. Просоленные головки укладывали в бочки, заливали крепким рассолом и отправляли потребителям в республики Северного Кавказа.

К лету под руководством мастера Ивана Алексеевича я научился варить твердые классические сыры. Расторопность, точность, аккуратность – необходимые качества в сыроделии, это я усвоил сразу и неукоснительно выполнял все указания опытного учителя. Наступил тот день, когда мастер вручил мне баночку дорогого сычужного фермента из Дании и разрешил самостоятельно вести смену. Не буду скрывать: я возгордился и ощутил небывалый прилив радости и сил. Мне было всего 16 лет, а я наравне с искушенным Иваном Алексеевичем был назначен сменным мастером и каждый день ставил свою подпись в производственном журнале. Старший мастер Кузьмич осторожно похвалил меня: «Ты, парень, на свое место попал, держись и не сворачивай».

В летний сезон завод работал круглосуточно, дневные смены чередовались с ночными. Нередко мы и ночевали при заводе, чтобы не терять времени на дальнюю дорогу в станицу и хорошо выспаться.

Процесс варки сыра весьма напряженный и стремительный, он рассчитан по минутам. Стоит затянуть какую-либо операцию, и получишь необратимые последствия. Врожденное чувство времени и сосредоточенность помогли мне, работа спорилась, я без осложнений выдавал за смену две, а то и три, партии. В цехе я был властелином, хозяином, здесь всё подчинялось моей воле: вентиля и краны, насосы, трубопроводы, сверкающие ванны из нержавеющей стали, термостаты. Я заполнял ванны теплым молоком, вносил закваску и наблюдал, как под воздействием нескольких ложечек фермента молоко в считанные минуты сворачивается, превращается в белое желе. Тут наступает самая горячая пора, некогда смахнуть пот с разгоряченного лица. Осторожно переворачиваю ковшом верхний слой до появления зеленоватой сыворотки, разрезаю лирой всю молочную толщу, пускаю пар и включаю мешалки. По мере нагревания сырной массы, увеличиваю скорость мешалок и контролирую образование белковых зерен до необходимого размера. При этом обязательно разжевываю горсть белых комочков, и рот обволакивает нежный сладковатый вкус – зерно готово. Я останавливаю мешалки, даю осесть белку на дно ванны и спускаю горячую сыворотку. Обнажается сырный пласт. Остается уплотнить его прессом, разрезать на бруски и разложить в деревянные формы. Свежесваренные, упругие, как резина, головки отправляются под пресс и далее в подвалы для солки и длительного созревания.

Не помню, по какому поводу я возразил мастеру. Он посчитал это недопустимым и немедленно разжаловал в рабочие сырподвала. В промозглых сырых камерах я чистил цементные бассейны и заполнял свежим рассолом, переносил и чистил головки сыра, загружал автофургоны. И здесь, в холодном полумраке, я не унывал, а распевал во всё горло: «О поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями?». На тяжелый изматывающий труд никто не жаловался – не было такого поветрия. Молодость легко берет любые высоты, а полное доверие, которым мы пользовались, подстегивало усердие и азарт. С каким наслаждением я съел первую в моей жизни тарелку клубники с густыми кремовыми сливками. Всегда полуголодные, мы с нетерпением ждали заводского сезона. Тут начиналось раздолье. Припасенный кусок хлеба обрастал маслом, прямо из трубы лилось в кружку теплое пенистое молоко, в широком ковше отливала глянец плотная закваска. Обычно мы смешивали ее со сливками и сразу насыщались. Иногда мастер разрезал головку ярославского или голландского сыра, обращал внимание на равномерность и типичность рисунка, на хрустальную «слезу» в глазках и угощал тонкими эластичными ломтиками янтарного цвета.

Лакинка

Когда началось распределение на преддипломную практику, я выбрал из списка Владимирскую область. Спросили: «Почему так далеко?» – «Хочу побывать в Москве, посмотреть русскую природу». Члены комиссии переглянулись, но уважили мою просьбу. По музыке, песням, картинам у меня сложилось поэтическое представление о среднерусской земле, и я мечтал своими глазами увидеть ее красоту, услышать ее людей. Так осенью 64-го я очутился в поселке Лакинка под Владимиром. Большинство жителей посёлка работало на прядильно-ткацкой фабрике, да и сам посёлок носил имя рабочего-ткача М. Лакина, участника революционных событий 1905 г. (ныне г. Лакинск).

Меня приютила на время практики пожилая чета Рубцовых – хлебосольных, отзывчивых русичей. Я поднимался в 6 утра, срывал в саду холодное хрусткое яблоко и уходил на завод: с семи начиналась смена. На Собинском молочном комбинате меня приняли с радостью: аппаратчик Егор уходил в отпуск, и на замену требовался временный работник. Через 2 дня я самостоятельно работал в аппаратном, влился в заводской коллектив и добился признания, а когда уезжал, то получил отличную характеристику и приглашение на работу.

После смены начиналось мое время. Ходили с хозяином Володей по грибы, бродил по живописным улицам и окрестностям Лакинки, несколько раз съездил в Москву и Владимир. Смотрел, вслушивался, запоминал. Не верилось, что хожу по древней русской земле, где до меня жили десятки поколений. И моя маленькая жизнь, проросшая на самом верху, сразу получила вековую глубину и корни. Однажды свежим октябрьским утром дядя Володя пришел с улицы и громко возгласил с порога: «Хрущева скинули! Конец Никите!» Через полчаса я сам слушал сообщение ТАСС. Несколько дней поселок радостно гудел – Хрущева не любили.

В одну из суббот я сидел в горнице и рассматривал иллюстрации Глазунова. Распахнулась дверь, и вошла светловолосая кареглазая девушка в плаще, с сумкой. От всей ее небольшой фигуры веяло невыразимой прелестью. Увидев меня, она с напускной строгостью спросила: «Это откуда в моем доме незваные гости?» Я представился. «Понятно. Давайте знакомиться – Рита», – и она протянула сложенную лодочкой, еще прохладную руку. Я сказал, что знаю ее по рассказам матери. «Ну, мама наговорит... Почему же заехали так далеко? Ах, русскую природу посмотреть, нашу красоту. И как, не разочаровались?» – «Напротив, – воскликнул я. – Вы слышали симфонию Калинникова?» – «Конечно». – «Теперь я знаю, что там звучит ваш осенний лес, владимирские поля». – «Почему обязательно владимирские? – рассмеялась Рита. – Хотя у нас даже город Юрьев-Польской есть, стоит в полях. Так вы увлекаетесь музыкой? Непонятно, как вы оказались в молочном техникуме». – «Мне и в техникуме интересно. Знаете, когда «сыр плачет»? – и я прочитал ей маленькую лекцию о сыроделии. Она выслушала, не сводя с меня приветливых глаз, и спросила: «А вы знаете («Называйте меня на «ты», – перебил я её), что рядом находится село Ундол, где в своём имении жил Суворов? Хочешь, покажу?»

И ранним вечером мы отправились в Ундол. Я совсем не замечал разницы в возрасте, меня так и подмывало спрашивать, делиться, шутить. Рита охотно отвечала, задавала вопросы сама, делала короткие пояснения. Сердце подсказывало: я тоже ей нравлюсь. Все встречные здоровались и с любопытством посматривали на нас, а я думал только одно: неужели то, что случилось – простое знакомство, вежливость взрослой красивой девушки? Завтра она уедет, через месяц уеду я, и короткая встреча, как множество других, останется только в памяти. Но волнение, теснившее грудь, шептало: что-то будет, это только начало.

Через неделю, с поручением тёти Нины, я поехал во Владимир: «Передашь дочке яблоки и пироги». Я нашёл пединститут и устроился со своим грузом в пустом и тихом холле. Раздался звонок, на широкой лестнице показались первые студенты. Я встал таким образом, чтобы обо-

зреть верхнюю площадку, и сразу увидел её в группе подруг. Она тоже заметила меня и приостановилась. Не обращая внимания на окружающих, я крикнул: «Рита, я от тётки Нины!» Она вспыхнула улыбкой, повернулась к девушкам и что-то сказала. Так и стоял я у них на виду несколько мгновений, пока она не сбежала с лестницы и не взяла меня за руку: «Давай отойдём. Я рада, что вижу тебя». Я помог ей одеться, и мы вышли к Золотым воротам. «Возьми меня под руку, – разрешила она. – Ты понравился подругам, сказали – совсем мальчик, и мне пришлось тебя защищать». Остановились у знаменитых владимирских храмов, постояли над кручей. «Ты похожа на эту белокаменную резьбу, – кивнул я в сторону Дмитриевского собора, – просто и загадочно». – «Вот как, – улыбнулась Рита. – Каждый день прохожу мимо, а сходства не заметила». – «Надо смотреть свежим взглядом, – сказал я и показал на окрестные дали. – Ты море видела?» – «Не довелось». – «Так это же море, только полевое». – «Это наше Ополье, – задумчиво произнесла Рита, – и оно стоит любого моря. Ты не ошибся, что приехал к нам, тебе откроется наша земля».

Мы развернули свёрток с пирожками и пошли на вокзал. В последний раз я увидел её из окна электрички – серьёзную, даже отрешённую – на быстро пустеющем перроне.

Я вернулся другим человеком. Никто не узнал о моём знакомстве. Шлёпал по осенней грязи, сидел на консультациях, делал расчёты, а видел её волосы, глаза, улыбку, одинокую фигуру на уплывающем перроне. Верил, чувствовал: меня ждут, новая встреча уже начинается. Моя дипломная работа называлась «Реконструкция линии выработки масла на Собинском молочном комбинате»; я защитил её на «отлично» и под новый 1965 год навсегда простился с Вознесенской.

Мастер

После выпуска я не задержался дома. Навалилась тревога о будущем: где придётся работать и жить, как примут в коллективе? Бабуля снова присоединилась ко мне, и в январе 1965 мы высадились на знакомой станции в Лакинке. Я временно оставил бабулю в гостеприимном доме Рубцовых и с направлением на руках отправился во Владимирский совнархоз. Там задумались, куда меня пристроить, и предложили Александровский маслозавод. «Не там ли жил Иван Грозный с опричниками?» – спросил я, и мне ответили утвердительно: «Теперь это промышленный город, есть большой радиозавод». Мне очень захотелось побывать в знаменитом месте, и я согласился. Увы, в Александров я прибыл на автобусе ранним зимним вечером, старина промелькнула за окном и исчезла во мраке. Пожилой сторож провел по заводу, старому и ветхому, с допотопным оборудованием. Он предложил заночевать в своей избе и поставил условие: «Если обрат будешь давать, мастер, так поладим – сдам тебе комнату. У меня все мастера жили». Я не знал, что ему ответить, поужинал картошкой с огурцами и ранним утром выехал во Владимир.

Там и нашла меня судьба. В широком коридоре совнархоза я столкнулся с Н. Головой, главным инженером из Лакинки. Она удивилась: «Ты как тут оказался?» Узнала о моих приключениях и упрекнула: «Эх ты, растяпа. Почему не пришел на завод? А мы тебя ждем». Она тут же оформила направление, и мы поехали в Лакинку.

Я приходил на завод утром, за полчаса до смены, и неторопливо обходил свои владения. Одни мои шаги гулко отдавались в каменной тишине. Сейчас появятся рабочие, застучат машины, и некогда будет сосредоточиться, обдумать, приготовиться. Любил и ночные часы, когда натруженный завод останавливался и затихал. Среди безмолвных стен и механизмов я особенно сильно сознавал себя творцом и вседержителем, по моему мановению начиналось движение и созидание.

Недели через две после вступления в должность мастера аппаратчик Егор пришел на смену подвыпившим. Мне не нравился этот долговязый, с плутовскими глазами, мужик. На любой вопрос он щерил зубы и давал уклончивый ответ. Я заметил, как он неловко и медленно собирает сепаратор, и сделал ему замечание. «Не переживай, мастер, не в первый раз, – успокоил Егор. – Помнишь, как сам начинал?» Ах, вот в чем дело: Егор решил напомнить о своих заслугах, когда инструктировал меня, практиканта, перед уходом в отпуск. Между тем, пошло молоко, надо было запускать линию, а Егор устроил перекур и глядел на меня посмеиваясь из своего угла. Внутри заклокотало, я шагнул навстречу и твердо сказал: «К работе не допускаю и ставлю прогул. Освободи место». Егор поднялся и с дурашливой ухмылкой вышел из цеха. Я завершил сборку, запустил оборудование и довел смену до конца. На следующий день Егор досрочно появился в цехе, но не улыбался и старался меня не замечать.

Вскоре такая же история повторилась с аппаратчиком маслолинии – он просто не вышел на работу. Упаковщица Таня подошла с вопросом: «Что будем делать? Может, послать за Васькой? С ним это часто бывает». – «Ни в коем случае, управимся сами». На маслолинии я еще не работал, но успел приглядеться и не раз беседовал с аппаратчиком, поэтому уверенно выполнил все операции. Я доказал коллективу, что мастер выступает не только организатором производства, но при необходимости может заменить любого рабочего.

С кочегаром пришлось договариваться другим способом. В обеденный перерыв заглянул морщинистый грузный мужик с красным лицом. Он протянул котелок и назвался: «Семен, кочегар. Слышь, мастер, налей-ка мне сливочек». Меня покорила его бесцеремонность и уверенность, что отказа не будет. «Молока могу налить», – сухо ответил я. «Жалко, значит. Ладно, обойдемся», – с угрюмым вызовом сказал Семен и хлопнул дверью. После смены я направился в душевую, которая располагалась в котельной. Разделся, ополоснулся, намылился

и вдруг отскочил: вместо теплой ударила холодная струя. Подождал с минуту и догадался, что это месть кочегара. Чертыхаясь, я оделся и с испорченным настроением вышел из кабины. Семен сидел перед гудящей топкой, курил и даже не повернул головы: здесь хозяином был он. Наутро кочегар снова вырос передо мной и протянул котелок. Я молча взял его и наполнил горячими сливками. Семен оживился и примирительно произнес: «Извини, мастер. Вчера накладочка вышла, больше не повторится».

Я обратил внимание на большие потери обезжиренного молока: часть его возвращалась сдатчикам, другая часть, невостребованная, прокисала и сливалась в канализацию. Между тем, в цехе-пристройке давно простаивало оборудование для сыроделия. Но сыр на заводе ни разу не варили, и когда я предложил пустить обрат в переработку, на меня посмотрели с недоверием. Я не сомневался в успехе, потому что знал сыроделие практически и любил эту тонкую и сложную технологию. В мастерских сделали по моему заказу необходимые инструменты и приспособления, деревянные формы, а механики привели в рабочее состояние сырные ванны с электромешалками, насосы и прессы. В ночной спокойной обстановке я сварил и отпрессовал первую партию нежирного сыра. Поскольку подвалы для хранения и созревания отсутствовали, после непродолжительного ухода я отправлял этот продукт на сырбазу для переплавки, а завод стал получать дополнительную прибыль. Следом изготовил опытную партию кефира, который пришлось разливать по бутылкам вручную. Подвели механики: они не сумели запустить разливающий автомат, и от затеи пришлось отказаться.

И творцу надо было думать о хлебе насущном, 80-рублевая зарплата не располагала к беззаботности. Я работал на молочном заводе и находил, что покупать молочные продукты в магазине нерасчетливо и глупо. Каждый день после смены я нес в глубоком кармане плаща что-нибудь молочное: бутылку сливок, пакет с творогом или маслом. Руки оставались незанятыми, и на проходной меня не проверяли, в отличие от рабочих с сумками. Всем было известно, что проверка ведется для отвода глаз: вахтерам совали сверток и беспрепятственно выносили украденное. Однажды поздним вечером я собирался закрывать завод. Мимо меня шмыгнули две работницы, метнули на пол тугие пакеты и снова вышли на двор. Я последовал за ними и все понял: за воротами дежурил неподкупный милицейский наряд. Я спокойно преодолел проходную и пошел домой. Вслед посветили фарами, но не окликнули, не остановили.

Через 40 лет я продолжаю наблюдать то самое, что видел в ранней молодости. Поздним вечером к дверям кондитерской фирмы подходят с сумками люди, им выносят свертки, коробки, и они скрываются во мраке. Есть и маленькое отличие: я выносил с государственного предприятия, они выносят с частного. Все заверения насчет «священной и неприкосновенной частной собственности» лопнули, как мыльный пузырь.

Наступила осень, и я оставил любимую работу – возмущала несправедливость. Моим рабочим начисляли с выработки продукции в два-три раза больше, и старший мастер, который и в цеха-то не заглядывал, тоже состоял на сдельной оплате труда. Все мои протесты отбивались руководством – не положено. Приехала в гости мать и начала усердно звать домой. Недовольство и обиды взяли верх, и я подал заявление об увольнении. Не удержали ни обещания предоставить квартиру, ни вздохи рабочих, ни Рита. Мне шел 20-й год. Покидая Лакинку, я с грустью чувствовал, что оставляю на владимирской земле свою юность.

Рита

В мае военкомат направил меня на обследование во Владимирский окружной госпиталь. Лежал в палате, слушал солдатские байки о легких победах над девчонками и вдруг вздрогнул от голоса сестры: «Карпусь, к тебе пришли!» С высоты второго этажа сразу увидел на безлюдном асфальте знакомую женскую фигуру – Рита! Медленным взглядом она обводила ряды госпитальных окон. Перепрыгивая ступени, сбежал по лестницам и устремился к подруге.

«Как ты узнала?» – «От бабушки. Почему не предупредил меня? Мальчишка... Что-нибудь серьезное?» Я поспешил успокоить, но Рита не поверила: «Неужели я буду провожать тебя в армию? Не хотелось бы». – «Ты скучаешь?» – «Мог бы и не спрашивать. Вечерами сижу дома, даже мама ворчит».

Так мы и прогуливались по асфальту под прицелом сотен любопытных глаз. Когда с опозданием я вошел в столовую, в мою сторону дружно повернулись стриженные головы.

Летом я устроил Риту лаборанткой на свой завод. Днем, в течение смены, виделись урывками, когда по делам заходил в лабораторию, но чем бы ни занимался, постоянно ощущал ее излучение. Рабочие с пониманием спрашивали: «Твоя девушка?» – «Моя». – «Красивая», – и я еще выше поднимал голову, безоглядно брался за любую работу. После смены мы поочередно принимали душ, и она садилась расчесывать влажные струящиеся волосы. Я потихоньку подходил сзади и впивался губами в ее душистую шею. Теплыми звездными ночами мы возвращались домой. Почти на каждом шагу я останавливал ее и покрывал поцелуями, на какой-нибудь улочке долго стояли в объятиях, без умолку смеялись и разговаривали. Она то и дело шутливо одергивала: «Тише, дружок, людей разбудишь». И тут же сама предлагала: «Давай споем». И мы вполголоса затягивали: «Снятся людям иногда Голубые города, У которых названия нет». Вот она, ее калитка. Рита увлекает меня в сад и там, на скамейке под яблоней, крепко и долго целует. Перехватило дыхание, я был ошеломлен, а Рита шепчет: «Подожди, милый», – и скрывается в палисаднике. Через минуту, при свете фонаря, я вижу в ее руках крошечный букет фиалок: «Это тебе». – «У меня нет цветов, чтобы отдарить тебя». – «Ты даришь больше, чем цветы. До завтра», – и я засыпаю на веранде, вдыхая ее аромат.

*За всё, за всё тебе спасибо:
За речи тихие в ночи,
За скромные цветы фиалки,
За целомудрие души.
Тебя я всякий раз представлю,
Когда, не в силах рассказать,
На Рафаэлеву Мадонну
Я буду с трепетом взирать.*

На следующее утро она словно устыдилась порыва и спросила: «Ты не ожидал, дружок? Я потом корила себя за этот поцелуй». Но рубеж был взят, и я свободно ласкал ее маленький подбородок, гладкий матовый лоб, светлые волосы. Мы жили только тогда, когда соединились. К ней подходили знакомые парни, значительно старше меня, она вступала в разговор, а я смотрел и ликовал: она – моя, разве она скажет им то, что говорит мне? Они никогда не узнают ее такой, какой знаю я. Страсть подступала, но не прорывалась, как будто мы опасались замутить наши отношения и поставили невидимый заслон. Возвращаясь из леса с грибами, мы разлеглись под свеженамётанным стогом перекусить. В её волосах застряли травинки, я стал осторожно вынимать и прильнул к любимой всем телом. Рита встала, накинула на плечи косынку и, словно оправдываясь, проронила: «Не обижайся, милый, но я всё время боюсь тебя соблаз-

нить». Сказала вроде в шутку, а на самом деле – всерьёз. Внезапная тоска охватила меня, и весь путь мы прошли молча.

Накануне выходного я предложил: «Давай съездим в Боголюбово». – «Ты еще не был там?» – «Только читал». – «Тебе повезло. Я тоже давно не ездила», – и на следующий день мы сели в электричку. Во Владимире купили билеты на автобус и через полчаса были на месте. Кто-то из прохожих показал направление, и мы свернули на широкий влажный луг. Церковь выросла внезапно, словно поднялась из спокойных вод речной старицы. Вокруг – ни души. Солнце заливало зелёную равнину, лёгкий ветерок освежал лица, рядом бесшумно текла Нерль. И мы, взявшись за руки, молча смотрели на белокаменную красавицу. Нас было трое. Храм, будто живое существо, притягивал, раскрывался, сближал.



На берегу тихоструйной Нерли, в полном одиночестве, мы разделись. Она заметила, как отвернулся, и воскликнула: «Стесняешься, дружок». Лежали на белом речном песке, поглядывали на тёмную луковку Покрова и безмолвные дали, изредка перебрасывались словами. Мы были переполнены музыкой души, слиянности с природой, неповторимости сущего. Она не смела прикоснуться ко мне, я – к ней. Под вечер тронулись в обратный путь и, не в силах расстаться, поминутно оглядывались, пока стройное видение не исчезло.

Утром через неделю, в день её рождения, я поднялся на знакомое крыльцо. Рита мыла пол и вышла босая, с мокрыми руками. Я поздравил и протянул ей альбом Левитана с вложенными стихами о поездке. «Проходи, будем пить чай». – «В другой раз», – ответил я и сразу ушёл. Вечером, на заводе, она распахнула дверь моего кабинета, крепко обняла и прошептала: «Спасибо, родной. Этот день я не забуду».

*На Нерли былинной, у поля ржаного,
Где синий гуляет простор,
Взметнулась в поднебесье церковь Покрова —
Как сказка, манящая взор.
Какой-то талантливый русский умелец
Чутьём сокровенным души
Постигнул вечерние звоны на Нерли,
Поэзию милой земли.
Большим он, наверное, был жизнелюбцем,*

*Так девушку страстно любил,
Что в камне заветном в порыве восторга
Он облик её претворил.
Уж восемь столетий с тех пор отшумело,
Но славу и ныне везде
Поют белоснежные стены ПокрОва
Бессмертной твоей красоте.*

Она всё предвидела и как-то ночью, во время наших бесконечных прогулок, неожиданно бросила: «Ты скоро меня оставишь». – «Нет, нет. Разве ты не будешь моей женой?» – «Конечно, нет, милый. У тебя будет другая женщина». – «Но почему?» – не понимал я. «Да уж потому. Всё лучшее между нами уже было, а больше ничего не будет». Я поднял её на руки и перенёс через ручей. Всё во мне напряглось, а она сразу стала тихой, покорной, задумчивой, прижалась к плечу, и мы шли, шли всё дальше, не разбирая дороги, внимая друг другу.

Приехала мать, убедилась вернуться домой, и я сообщил ей о предстоящей разлуке. Она поняла с полуслова, пригорюнилась, покачала головой: «Ты зря это делаешь, а матери не следовало бы ломать твою жизнь в самом начале». Но я не внял её предостережению. Накануне отъезда она пришла на свидание под хмельком, весёлая и немного развязная. Объяснила: «У ровесника была на свадьбе». Ласкала жадно, ненасытно, а я, оглушённый вспыхнувшей страстью, плохо понимал происходящее и уж совсем не осознавал необратимости грядущего разрыва.

Через несколько лет она известила в письме, что вышла замуж и родила дочь. А мне осталась память, на неё я богат. Я вижу её всю, от первого появления в горнице, когда мы, словно предчувствуя сближение, пристально посмотрели в глаза, до последних содроганий трепетных рук на моих плечах.

Начало

Марина Бычкова, выпускница филологического, чуть не плачет: провалила первый урок. «Так готовилась, так переживала! Пересмотрела гору книг, подобрала иллюстрации, продумала все повороты – и зря. Не слушали, дурачились, со мной заигрывали». – «Постой, а чего ты хотела?» – «Как чего? Раскрыть значение литературы в духовном развитии, показать влияние великих писателей на молодые поколения... Вообще напомнить, что без литературы нельзя жить». Я махнул рукой: «Блажен, кто верует... Но оглянись вокруг себя: живут без литературы, и ещё как живут. Смотри, не позавидуй». – «Никогда, – вспыхнула девушка. – Вы меня заводите?» – «Нет, Мариночка, хочу помочь».

Долой методику, долой пособия, долой план! Вспомни, какая ты красивая. И на первом уроке тебе следовало показать только себя, как перворазрядную модель: свою фигуру, свой костюм и причёску, свою улыбку, свою речь и, конечно, знания. Так, между прочим. Что, акселератики, обалдели? Ещё и не то увидите – я всё умею. Марина смутилась: «Я и сама хотела просто поболтать на вольные темы, а мама в ужас пришла: ты что, хочешь первый урок загубить? Никогда не иди на поводу у класса!».

Я тоже не шёл. Но я обязательно давал то, что им не терпелось услышать, и они уходили с уверенностью, что учитель – «свой парень». Первый урок. Как первое свидание, первый поцелуй, первый выход на сцену: каким покажешься, таким и запомнишься. Привлечёшь или оттолкнёшь надолго. Я чувствовал это интуитивно и никогда не загружал первые уроки серьёзным содержанием. Я шёл, чтобы понравиться и увлечь.

Когда я говорю, что провёл первый урок по кулинарии, мне не верят: «Ты же историк». Но в школу №2, что на Куниковке, я пришёл с дипломом технолога молочной промышленности, и мне предложили место преподавателя производственного обучения. Учебный год уже начался, выбора не было, и я из заводских цехов сразу переместился в школьный класс. Меня совершенно не беспокоило то, что предстояло вести предмет малознакомый: с технологией пищи я сталкивался лишь на бытовом уровне, в собственной кухне, и был осведомлён в этой области не больше других. Однако солидная теоретическая подготовка и богатая практика сделали меня самоуверенным, и я смело взялся за преподавание. «Я хоть что-то знаю, а ученики совсем не имеют понятия о микробиологии и биохимии», – рассудил я и для начала внимательно перелистал учебник кулинарии.

Разумеется, я входил в 10 класс с волнением и опаской, зная, что школьники любят проверять новых учителей, особенно молодых. Но молодость и выручила меня. Я был всего на 3 года старше учеников, и они приняли меня чуть ли не за ровесника, с откровенным любопытством и широкими улыбками. Я развязно представился, и взлохмаченный толстяк-очкарик насмешливо спросил: «Что, кашу будем варить?» – «А хотя бы и кашу. Кстати, не скажешь ли ты, в каком соотношении надо брать воду и крупу?» Толстяк замялся: «Я думаю, напололам». – «Ну, если такой кашей ты угостишь невесту, она убежит от тебя». Все рассмеялись. Толстяк покраснел и выкрикнул: «А я не собираюсь жениться!» – «Напрасно, – подхватил я тему. – Можно сварить такую кашу, что тебя полюбит самая красивая девушка». Заметив обострённое внимание, я со вкусом описал, как готовят гурьевскую кашу на сливках, с изюмом. Едва я замолчал, как в тишине раздался мечтательный голос девочки: «Славка, учти: я приду первая», – и в классе грянул взрыв хохота, окончательный добивший толстяка. Я продолжал представление: «От каши перейдём к десерту. Я угощу вас „сыром лимбургским живым“, слышали про такой?» С моей помощью вспомнили «Евгения Онегина», и я пояснил, почему Пушкин назвал этот голландский сыр «живым». Затрещал звонок, стол окружили ученики, и посыпались вопросы, кто я и откуда. Из класса я уходил победителем, первый урок проложил прямую дорогу к последнему.

Через неделю, направляясь на очередное занятие, я услышал, как кто-то из десятиклассников оповестил: «Гурьевская каша идёт!» Я запомнился, и мне оставалось поддерживать тот высокий настрой общения, который произвольно, без плана и расчёта, сложился на первом уроке. Впоследствии я всегда шёл на сентябрьскую встречу с учениками без какой-либо определённой разработки и лишь приблизительно намечал в голове круг вопросов для обсуждения. Как правило, это были импровизированные рассказы о загадках истории, событиях и героях прошлого с точки зрения современника. Высшей наградой стала чья-нибудь просьба: «Расскажите нам...»

Университет

Я приезжал в Ростов дважды в год на зимнюю и летнюю сессии. Нигде раньше я не встречал таких тупщоб, как в этом миллионном городе. Стоило свернуть с центральной улицы Энгельса к Дону, как начинались ряды жалких лачуг из глины, досок, листового железа. Моя хозяйка Семёновна, грубоватая неугомонная пенсионерка, распорядилась проходной кухней и двумя каморками с низкими потолками и перекошенными оконцами. Это жилище они соорудили с мужем после войны. Муж умер, и Семёновна из нужды начала сдавать свои «апартаменты» студентам-заочникам. Рядом, в таких же подслеповатых и тесных хибарах, ютилось ещё пять семей. Там надо было нагибаться при входе и прижиматься к стене в узких коридорчиках.

В мою учебную группу входили учителя, военнослужащие, председатели сельсоветов, аппаратчики, комсомольские работники. Я со всеми водил приятельство, помогал сам и пользовался помощью, не встречал зависти и пренебрежения. 6 лет прожили бок о бок, под одной кровлей, с Мишей Горбачёвым, учителем из Красного Луча. Ни разу не поссорились, хотя были очень разные, короткие размолвки возникали по моей вине. Старше меня лет на 5, он обладал ровным, общительным и лёгким характером и напоминал мне Колю Александрова. Прорабатывали вместе экзаменационные билеты и допоздна сидели в библиотеке, угощали друг друга черешней и газировкой, а иногда наведывались и в «Донскую чашу», по воскресеньям цедили пиво и хрустели крупными донскими раками на многолюдном базаре. Обедали обычно в кафе «Белая акация» – там отменно готовила молодая бригада и подавали полновесные порции. Рядом находилось такое же кафе-стекляшка, где борщ смахивал на помои, а котлета застревала в горле. Однажды Мишка повёз меня в станицу к дяде-пасечнику. Старик растрогался и поставил на стол большую миску янтарного мёда, а рядом – чашку с малосольными огурцами: «Ешьте досыта, хлопцы, лучшего угощения на Дону нет». Прошла жизнь, многие имена и лица стёрлись, а дух солидарности и товарищества сохранился.

Я не принадлежал к числу старательных посетителей лекций. Были преподаватели, которые преподносили студентам безжизненные социально-экономические схемы, добросовестную сводку событий и лиц, злоупотребляли тяжеловесным толкованием исторических процессов. Таких я отсекал сразу и предпочитал углубиться в учебники. Но встречались учёные с тонким историческим чутьём, ясным пониманием прошлого и завидным воображением. Они предлагали не только анализ, но и выразительные картины минувших эпох. На I курсе всех завоевал Ю. Кнышенко – историк первобытного общества и этнограф. Тихим спокойным голосом он рисовал облик многочисленных обитателей земного шара, традиции и обычаи народов с такой точностью и подробностями, будто прокручивал перед глазами документальный фильм. Красноречивым мастером и знатоком Западной Европы предстал доцент Люксембург. Он ярко и убедительно прослеживал связь европейских идей и теорий с запросами и интересами разных классов и сословий, набрасывал выпуклые портреты политиков и знаменитых деятелей, неустанно подчёркивал роль общественных сил в становлении европейской цивилизации. Запомнились содержательные и смелые лекции по искусству и литературе; в частности, нам рассказали о творчестве Булгакова и Солженицына, современной театральной режиссуре. Молодой преподаватель археологии В. Кияшко прервал мой ответ на экзамене и предложил: «Я слышал, вы участвовали в интересных раскопках. Расскажите-ка лучше об этом». И с удовольствием вывел в моей зачётке «отлично».

В лице проф. А. Пронштейна я впервые увидел крупного учёного-исследователя средневековой России и Дона. Его глубокие лекции по источниковедению были подобны скальпелю хирурга: разнообразные типы документов предстали в единстве происхождения, структуры и назначения. Именно Пронштейн дал нам понятие о незаменимости источников в познании

истории и разоблачении всевозможных спекуляций вокруг исторического наследия. Его призыв: «Откройте источник – и вы откроете Америку», – врезался в сознание и стал руководством к действию. А скромный и тактичный Б. Чеботарев научил на семинарских занятиях предметно работать с документами: актовым, статистическим, описательным, мемуарным материалом. Он предлагал рассматривать любой источник в контексте эпохи, в единстве всех её слогаемых и обязательно сопоставлять, проверять всеми доступными фактами – иначе неизбежна модернизация и фальсификация истории.

Все курсовые работы, а их было 4, я написал на основе доступных источников и отношу к своим удачам: в них я попытался выразить свой взгляд, своё отношение к теме. На 2 курсе я засел за переписку и мемуары декабристов и написал «Декабристы в Сибири». Я доказывал, что первые русские революционеры были сторонниками военного переворота не потому, что боялись народа и были далеки от него, а потому, что тёмная неорганизованная масса столкнула бы страну в пучину хаоса и погромов; отсюда стремление декабристов подготовить, «просветить» народ. Лучшая моя работа, «Герои русских былин», целиком отталкивается от «Повести временных лет» и былинного фольклора. Эпиграфом я взял полные глубокого смысла слова А. К. Толстого из письма 1869 г. – в них очень точно и образно проведена грань между Киевской Русью, родиной богатырей, и Русью Московской, где «перевелись богатыри»: **«... когда я думаю о красоте нашего языка, когда я думаю о красоте нашей истории до проклятых монголов и до проклятой Москвы, ещё более позорной, чем самые монголы, мне хочется броситься на землю и кататься в отчаянии от того, что мы сделали с талантами, данными нам богом!»**.

В курсовой «Феодализм в Сибири» я широко использовал документальный материал из богатейшей «Истории Сибири» академика XVIII века Г.Ф.Миллера и показал, что в колонизации Сибири инициатива исходила из народной среды и торгово-промышленных кругов, а государство присвоило готовый результат и пришло в Сибирь по следам первопроходцев. Последнее моё сочинение «Основание Новороссийска» базируется на копиях документов из Центрального военно-исторического архива, предоставленных в моё распоряжение Новороссийским краеведческим музеем. Как ни отметить, что студентам была дана полная свобода в исторических изысканиях, никто не навязывал своих позиций и выводов. Б. Чеботарёв проверял мои работы уважительно-корректно и оценивал высшими балами.

Таким образом, университет дал мне не столько готовые знания, сколько научил добывать их собственным усердием и вырабатывать обоснованные взгляды на историю и её творцов. В знании фактов я тоже не был последний: перелопатил гору литературы и являлся на сессии с готовыми конспектами. Однокурсники знали об этом и охотно ими пользовались. В моём дипломе среди 24 оценок лишь одна «уд.» по истории южных и западных славян – самый путанный и схематичный учебник; пять оценок «хорошо», остальные «отлично». Все госэкзамены я сдал на «отлично».

Саша

Все решающие встречи обозначились сразу, все необязательные тянутся долго и скучно. Вспоминаю встречу с Сашей и не сомневаюсь: над нами витал гений. Только переступил порог приземистой халупы, как услышал голос Семёновны: «А вот и Игорь, о котором я тебе рассказывала. Знакомьтесь». И мне навстречу поднялся невысокий худощавый юноша с умными внимательными глазами: «Александр. Ты знаешь, благодаря Семёновне, я встречаюсь с тобой как с давним знакомым. Она дала тебе отменную характеристику». – «Привычка хозяев хвалить своих постояльцев, – слегка смущаясь, ответил я. – А ты как здесь оказался?» Саша объяснил, что переводится с заочного отделения на дневное и приехал досдать экзамены. «Общезитий я не люблю, там невозможно уединиться и что-нибудь усвоить». Я согласился, вспомнил годы учёбы в техникуме, и между нами сразу завязалась одна из тех бесед, которые возможны только в юности.



Ему было 18, мне 21, но умом и развитием он превосходил меня. Я был богаче жизненным опытом, во мне ещё громко звучала романтическая струна, и Саша это немедленно распознал. Он уже охладел ко многому и смотрел на людей с подозрением. Мы сблизились и соединили свои миры во имя истины и дружбы. Проснулся неутолимый голод, так торопились высказаться и вызвать на откровенность. Споров почти не было. Было наслаждение искренностью и поэзией узнавания. О чём мы говорили?

– Я не любил взрослых в детстве, они постоянно подчёркивали своё превосходство и всезнание. У нас все всё знают. – Глубокой основательной литературы, кроме классики, нет. Вот Булгакова разрешили, обязательно прочитай. – Ты заметил, что непозволительно отклоняться от вдалбливаемых идей? Когда требуют мышления, это означает всего лишь добросовестный пересказ чужого. – Студенческая среда та же богема, надо принимать её условности или отходить в сторону. – Чем больше наблюдаю людей, тем меньше оптимизма. Приглядишься, чем они заняты. – Никого не интересует то, что происходит на самом деле. Занимает только видимость и «светлое будущее». – Мало кто собирается проходить свой путь самостоятельно, предпочитают массовость и подражание. – Тебе нравится наша эстрада, эта штампованная бодрость и грусть? – У меня случаются тяжёлые дни, когда мне никто не нужен, даже родители. Как

умирающие животные забиваются в глушь, чтобы скрыть страдания и смерть, так и я. – Ты читал Торо, его «Жизнь в лесу»? Это про нас. – В истории процветают насильники и авантюристы. Герои, подобные декабристам, терпят поражение.

Я передаю то, что вспыхивает в памяти, как светляки в тёмной аллее. Позднее я прочитал несравненный эпос о Гильгамеше и сразу вспомнил нашу первую встречу: «Друг мой, всё, что есть злого, изгоним из мира!» Трудно поверить, что этим строкам более 4 тыс. лет. Именно декабристами мы завершили разговор под звёздным небом на дворе: я лежал в постели, Саша сидел в изголовье. Было за полночь, а мы не могли расстаться. Наконец, я сказал: «Пора, друг, иди спать. Договорим завтра».

Договаривали четыре года во время кратких неровных встреч. Саша то отдалялся и терял интерес, то радовал первоначальной открытостью и дружелюбием. Помню, как в феврале 69 приехал в Ростов, а на следующий день пришёл Саша. Он опростился, понял необходимое. Признался, что очень хотел встретиться. Я тоже, но далеко не в той степени, как год назад. Отношения стали совсем ровные и уважительные, говорили мало, понимая друг друга с полуслова. Он верно заметил, что я развиваюсь замедленно, а мне подумалось: если я, вследствие такой замедленности, перешёл его дорожку, то он перейдёт обязательно мою.

Я пригласил друга в Новороссийск, он охотно согласился. Ясным вечером, когда дул крепкий знобящий «моряк», я показывал ему город. На набережной он неожиданно спросил: «Помнишь, я рассказывал тебе о любимой девушке? С ней несчастье, я потерял её навсегда». После томительной паузы я услышал его сдавленный монотонный голос: «В поле не видно ни зги. Кто-то зовёт: Помоги! Что я могу? Сам я и беден и мал, Сам я смертельно устал. Как помогу?» При расставании он подарил свою фотографию с надписью: «Большое честолюбие издавна превращало многих разумных людей в безумцев. И. Кант».

Экспедиция

Ах, если бы можно было сейчас припасть к знакомым лицам, рукам, коленям и пови- ниться в детской и юношеской самонадеянности, слепоте. Только брал, пользовался, не затруд- няясь ответным словом и действием. Это общее свойство молодежи – смотреть только на себя и кумиров, поверх голов, и все же удивляюсь, как механически я жил в ранние годы, как упро- щенно и безразлично воспринимал людей. Лишь после 20 медленно стало открываться внут- реннее зрение, способность притягивать и отзываться. Впервые этот сдвиг, наверно, заметила Н. А. Онайко.⁷

В начале августа 1967 мне позвонила добрая приятельница из краеведческого музея Эльза Гущина и спросила: «Хочешь участвовать в раскопках?». – «И ты еще спрашиваешь!» – воскликнул я. «Так иди скорее в гостиницу, тебя ждет начальник экспедиции». Так я познако- мился с Надеждой Анисимовной, столичным археологом.

Ей было за 50. Крупная прямая фигура, умные зоркие глаза, доверительная манера обще- ния. Она говорила спокойно и ровно, но каждое слово звучало уверенно и весомо. Весь ее облик воплощал ту силу личности и достоинство, которые даются огромным жизненным опы- том и накопленной культурой. С первых же минут я проникся к этой женщине беспредельным уважением.

Она расспросила о работе, учебе и предложила поработать на раскопках в Широкой балке. «Местечко интересное. Вам, может быть, известно, что до революции там был найден бронзовый бюст боспорской царицы Динамии. Я надеюсь выйти на следы античного поселе- ния». И тут же предупредила: «Работа тяжелая, но размеренная, требует внимания и аккурат- ности. К тому же, немного заработаете».

К вечеру я пешком добрался до Широкой балки. Не считая руководителя, нас было всего шестеро: два московских студента, сотрудник Исторического музея Юрий Михайлович, инже- нер Володя – давний знакомый Онайко, повариха Дуся и я. Мы натянули палатки, соорудили очаг, выкупались после ужина в море и уснули богатырским сном. На следующий день началь- ник определила нужное место и расставила рабочих. Мне достался участок в стороне от основ- ного раскопа. Н. А. подходила каждый час, давала указания и, глядя на прямоугольник ямы, шутила: «Интересно, кто погребен в этой могиле? Даже смотреть жутко». Я извлек из каме- нистой почвы массу черепков и даже горлышко амфоры с обломком ручки. На соседнем рас- копе мужчины расчищали каменный фундамент и обнаружили бронзовую женскую головку, из шеи которой торчал клин. Вечерами мы разбирали находки, мыли, шифровали и уклады- вали в ящики.

Постепенно, во время непрерывных разговоров, прояснилась физиономия моих товари- щей. Они были настроены воинственно-критически, давали уничижительные характеристики партийным вождям, высмеивали пропагандистские кампании и укоренившиеся беспорядки. Так я впервые столкнулся с нарастающей волной советского нигилизма, которая шла из сто- лицы. Со многим я был согласен, но коробила неразборчивость в нападках, пренебрежение ко всему, что лежит за пределами Москвы. Как правило, я не вмешивался в пересуды и вни- мательно слушал, но однажды не выдержал. Студенты начали полоскать экранизацию «Войны и мира», и я коротко возразил: «Напрасно. Это – капитальная вещь». Один из зубоскалов посмотрел на меня с сожалением и притворно вздохнул: «На таких Бондарчук и рассчитывал».

⁷ Онайко Надежда Анисимовна (1921—1983) – ст. научный сотрудник Института археологии АН СССР. Крупный специ- алист по античной археологии Причерноморья. Имя Онайко Н. А. присвоено одной из улиц Новороссийска.

Онайко не принимала участия в обсуждениях, и когда я пожелал узнать ее мнение, она не уклонилась: «Напакостили порядком. Молодежь перебирает, но судит верно, ей не заткнуть рты». Я понял, что внутренне она одобряет своих помощников.

Н. А. заметила мою скованность и находила случаи оказывать мне знаки внимания и симпатии – я расшевелился и стал вести себя более уверенно. Однажды, возвращаясь на раскоп, я нечаянно подслушал то, что говорили обо мне. Юрий Михайлович высказался: «Странный он человек: слушает, а сам помалкивает. Уж не стукач ли он?» Онайко мягко возразила: «Зря вы так думаете. Игорь – простой и открытый парень. Вы подавили его своим апломбом, и он замкнулся».

Я робел перед этой пронизательной волевой женщиной. Она ни разу не дала почувствовать разделяющую нас дистанцию, напротив, естественно сложились добрые отношения. Ее расположение возросло настолько, что она без обиняков высказала мне то, что думает об окружающих. «Эти еще не оперились, – кивнула она на студентов, – повторяют чужое». Одного из мужчин она похвалила, но весьма своеобразно: «Работник незаменимый, пашет за троих. Но спросите, зачем он шатается по стране и бросил семью – не ответит. Ну, а этот хорош, пока рассказывает – знает много, – перешла она к музейщику. – А в жизни – мотылек, порхает с цветка на цветок, пока есть нектар».

В день ее рождения я отмахал 30 верст и принес в подарок книгу, а по пути нарвал букет бессмертников. За ужином я угостил Н. А. кружкой ежевики и подосадовал, что она тут же раздала ее: здоровенные мужики и сами могли бы набрать ягод.

Раскопки завершались, Онайко начала паковать полевое оборудование. Мы вдоволь купались в море и грустили о предстоящем отъезде. Москвичи привыкли ко мне и обращались по-приятельски, запросто. А мне не хотелось расставаться только с одним человеком. Надо было зайти в гостиницу и получить у начальника причитающуюся зарплату. Я приготовил цветы и долго ходил по ближней аллее, не решаясь открыть дверь. Застенчивость одолела, я выкинул цветы в урну и повернулся восвояси. Надежда Анисимовна передала мои деньги и простилась через Эльзу.

После экспедиции мы изредка обменивались открытками, она звала меня на новые раскопки, дважды дарила книги по археологии. Я осмелел и под Новый год навестил её дома в Веерном переулке Москвы. Таким же деликатным, душевным предстал передо мной и Николай Иосифович – муж Онайко. Скоро, очень скоро я понял, что такие встречи украшают и укрупняют жизнь.

Экскурсовод

Я пришёл в Новороссийское экскурсионное бюро в сентябре 1966, после поступления в университет. Заведующий Коровников встретил приветливо, выслушал и объяснил: «Я зачислю тебя в штат, но знай, что постоянной зарплаты у нас нет, сколько проведёшь экскурсий, столько и получишь». – «А много ли экскурсий?» – робко осведомился я. «Зимой мало, весной и летом – побольше. А пока поезди с нашими экскурсоводами, наберись знаний».

Так и поступил. Представления о работе экскурсовода были поверхностные: «Посмотрите направо, повернитесь налево». Учебной и методической литературы не водилось, единственным пособием для начинающих был утвержденный текст обзорной экскурсии по городу – сетка фактов, имен, кратких характеристик. Бюро существовало всего 2 года и обслуживало в основном черноморские круизы. По пути из Одессы в Сочи и Батуми теплоходы заходили в Новороссийск, и туристы осматривали центральную часть города и Малую землю. Постоянных экскурсоводов было четверо, все женщины с педагогическим образованием. Я стал пятым.

Новороссийск, крупный промышленный и портовый город, был заложен в сентябре 1838 г. как военно-морское укрепление: после победоносной войны с Турцией началось освоение Восточного Причерноморья, и береговая полоса прикрывалась надёжной защитой. В середине 60-х город был мало известен жителям страны, не включался во всесоюзные маршруты, поэтому экскурсионная служба находилась в зачаточном состоянии, опыта и мастерства не хватало всем.

Разумеется, я прослушал дам-экскурсоводов, запомнил остановки и выходы и первое время просто копировал коллег. Как волновался на первой экскурсии, как нервно растирал левую руку, так что слушатели больше наблюдали за моими телодвижениями и потным лицом. Какие неуклюжие, сбивчивые фразы вылетали из моих уст, ведь я был озабочен только тем, чтобы произнести весь заученный текст, ничего не забыть и не перепутать. И все-таки окончился, допустил и то и другое. Месяца через два я знал экскурсию досконально и обрел уверенность, а через год добился желанной свободы: научился варьировать изложение, приспособившись к аудитории; задумался о композиции повествования, нашел и выделил запоминающиеся детали; овладел разнообразной интонацией. Но останавливаться было нельзя, я всего лишь примерно пользовался чужим, типовым, материалом, и мои экскурсии в целом были такими же, как у других сотрудников.

Постепенно я накапливал источники, факты; снимал одни фрагменты и вставлял другие, более выразительные и интересные; увеличивал время на одни эпизоды и сокращал на другие; выявлял на местности и в памятниках то, что требует пристального взгляда. Пришло понимание, что экскурсия, помимо познавательного и эстетического назначения, должна быть примером внимательного отношения к действительности, открытием повседневного мира. До отъезда в Омск осенью 1968, обзорная и тематические экскурсии были мною полностью переработаны, я стал их автором и исполнителем. Публика, между прочим, быстро догадывается, какую ей предлагают экскурсию: собственную или заимствованную. Как слушают, как прощаются – в этом заключается оценка труда экскурсовода.

Однажды после экскурсии на площади Героев подошел представительный мужчина и спросил: «Почему вы Деникина назвали Антоном Ивановичем?» – «Потому что у него есть имя-отчество, как у всех». Мужчина раскипятился: «Впервые слышу, чтобы белогвардейского генерала-палача величали по имени-отчеству. Вас что, не учили?» – «Учили, гражданин: врагов следует уважать», – ответил я сдержанно, повернулся и ушел.

Наивные люди полагают, что экскурсоводу достаточно раз и навсегда выучить свою экскурсию. Если так настроен сам экскурсовод, то в профессии он человек случайный. Как хороший актер играет каждый день одну и ту же роль и не повторяется, так и думающий экскурсо-

вод не позволит себе бесцельно производить копии-показы. Но актер не вправе изменить текст роли, а экскурсовод обязан выбранную тему подавать по-разному, в зависимости от состава группы, накопленных знаний, продолжительности, настроения слушателей и, конечно, времени, в котором живет страна и народ. Даже сезон, погода, время суток отражаются на творчестве; чуткость, восприимчивость экскурсовода никогда не оставят равнодушными аудиторию. Непрерывно идёт подспудная работа, отбор. Как муравьи перекладывают иглу за иглой свой дом, так и экскурсовод заменяет отработанное, малоудачное, устаревшее более совершенным и убедительным. Экскурсии противопоказаны застылость и неприкосновенность, она перестаёт жить и превращается в штамп.

В 1967 приближалось 50-летие Октябрьской революции, и меня командировали в Ленинград на Всероссийское совещание экскурсионных работников. Среди коллег я был самый молодой и ловил то удивлённые, то любопытствующие взгляды. Несомненно, внимание привлекал и мой, более чем скромный, костюм. Одна отутюженная видная дама спросила: «Вы кем работаете?» – «Экскурсоводом». – «Где, если не секрет?» Услышав мой ответ, она проронила: «Далеко», – и отвернулась. Думаю, что Новороссийск для неё прозвучал так, как Магадан или Находка.



В Новороссийском морском порту, у первого в Причерноморье памятника В.И.Ленину. 1972

Совещание проходило в роскошном старинном особняке за мраморным столом. В перерывах я осторожно передвигался по огромным залам со скрипучим паркетом и позолоченной лепниной, вглядывался в высокие тусклые зеркала и плафоны. Невольно думалось: здесь жили особые люди, не такие, как мы. Конечно, они и ходили, и разговаривали, и общались совсем по-другому. Сразу, предметно представилось влияние житейской обстановки на облик и поведение человека.

Нам показали «Аврору», Смольный, особняк Кшесинской, Разлив и другие памятные места революции, я услышал лучших экскурсоводов. Один из них, молодой мужчина лет 30 в модном пальто, с энергичным глянцевым лицом, удивил эрудицией: он так и сыпал датами, именами, подробностями блокадной хроники. Мы стояли на Пулковских высотах, у стен знаменитой обсерватории. Здесь земля пропитана кровью, повсюду сражались и погибали ленинградцы, каждый со своей судьбой и душевным трепетом. Но ничего этого мы не услышали: ни одного лица, ни одного вздоха, ни одной минуты раздумья. Трагедии не было, была зако-

номерность. Экскурсовод с непонятным пафосом уверенно цитировал документы, излагал ход операций и подводил к неизбежности германского поражения. Его четкий голос с волевым нажимом вызывал в памяти сводки Совинформбюро.

Совсем другое впечатление оставила экскурсия «По следам героев «Народной воли». Её вела женщина средних лет с неброской располагающей внешностью. В первые же минуты она создала спокойную, доверительную атмосферу общения и выдержала её до конца. Экскурсовод рассказывала о народовольцах как о любимых товарищах и друзьях, о которых знают почти всё: характер, привычки, маленькие слабости, предпочтения, заветные желания. Но из этих, казалось бы, мелких штрихов и бытовых деталей складывались чеканные портреты молодых людей, прекрасных своим братством, одержимостью, самопожертвованием. Экскурсовод не судила их, не перечисляла ошибки и заблуждения. Она просто встала рядом и прошла весь короткий путь до Голгофы.

Я подошёл к ней после экскурсии и высказал своё восхищение. Анна Николаевна подхватила мысли, которые неизбежно возникают рядом с умным открытым человеком: «Кто возьмёт на себя смелость выносить приговоры и смотреть на историю глазами обвинителя? Кто может безошибочно сказать, что правильно, а что неправильно? Проходит время, стрелки переводятся, и история доказывает, что у неё своя неотвратимая поступь. Нельзя человеку предписать правильное поведение, если он не в тюрьме, как нельзя лишить его права протеста против насилия.

В экскурсионной практике нередко возникают такие обстоятельства, когда нужно быстро перестроиться и без продолжительной подготовки выйти на неизвестный маршрут. Однажды среди недели позвонили из заводского профкома и заказали на воскресенье однодневную экскурсию на Тамань. Таких экскурсий мы не проводили, и все отказались. Тогда обратились ко мне, и я согласился. Не в моих правилах было отступить, да и самому очень хотелось увидеть знаменитое местечко. Я прикинул, на какие знания могу опереться. Хорошо знал древнюю историю края, археологию, литературу – всё это и заложил в основание маршрута. За три дня пополнил запас знаний по географии, экономике и населению Кубани, изучил по карте трассу предстоящего путешествия. И когда за окном автобуса пошли казачьи станицы и хутора, я начал рассказ о заселении Приазовья, быте и традициях кубанского казачества. Потянулись лиманы и виноградники Тамани, и я познакомил слушателей с историей виноградарства и виноделия, загадками Скифии и Боспорского царства. А в самой станице речь, разумеется, пошла о лермонтовской Тамани и судьбе поэта. Здесь кстати пришлось вспоминания его приятеля М. Цейдлера.

Тамань предстала затерянным благословенным уголком. На берегу залива с зелёной водой никого не было, лишь одиноко возвышался памятник черноморским казакам. На траве, словно присыпанной солью, женщины раскинули скатерть и выложили закуску, мужчины расставили стаканы и разлили водку. После шумных тостов разговор прерывался, и было слышно, как внизу, под откосом, плещется море и пронзительно кричат чайки. Под ярким полуденным солнцем земля и вода сливались в огромный материк, и люди как будто растворились в его примиряющем знойном блаженстве. И кто-то, пораженный, вдруг воскликнул: «Братцы, а как мы сюда попали?»

В 1969, после кратковременного пребывания в Омске, я вернулся в Новороссийск и в поисках работы наведлся в экскурсбюро. Заведующая И. И. Маслюк встретила с нескрываемой радостью: «Почему не сразу пришел? Мы тебя не забыли, приступай к работе». И потекла жизнь на колесах. Я был молод, не связан семьей, и за мной закрепили дальние маршруты. Из Новороссийска я доставлял «Кометой» туристов в Сочи, размещал по квартирам и автобусами отправлял на озеро Рица, в Сухуми и Красную Поляну с ее нарзанными источниками. Приходилось неделями жить в Сочи, принимать и провожать очередные группы. Завязались короткие знакомства, сложились деловые связи. Пожилая армянка Сусанна заранее оповещала

соседей в своем квартале, и моим туристам всегда был обеспечен ночлег. Поздно вечером она угощала меня пряным овощным рагу по-армянски: «Нравится? Ты не ешь в столовой, а приходи ко мне, я всегда накормлю». Но я не хотел злоупотреблять ее расположением. За сутки командировки мне платили 5—60, и при тогдашней дешевизне на курорте я проедал не более 3-х рублей в день, позволяя себе пару стаканов вина, а иногда и шампанское. В Сочи, в свободное время, я шел не на пляж, где роилась человеческая масса, а в верховья горной речки Сочи. Люди платили деньги, томились в очередях и вонючих автобусах, чтобы посмотреть избитые красоты и достопримечательности, а здесь, за городской окраиной, начиналась мощная нетроутая природа Кавказа. В каждом камне, стволе, изгибе – сила, избыточность, величие.

Гигантское ущелье широкой воронкой выходило к морю, но чем выше я поднимался по речному руслу, тем ближе сходились горы и стеснялось пространство. Густые темно-зеленые леса то волнами уходили вверх, то смыкались кронами над бурлящим потоком. Над головой – обжигающее южное солнце, а внизу, у моих ног, юркие рыбешки, голубые стрекозы, размахивающие хвостиками трясогузки. Охватывало неопишное блаженство, я не ощущал телесности и уподоблялся сгустку горячего, звенящего, ароматного воздуха. Во мне, в моей глубине, шелестели дубовые листья, плескалась живая вода, ворковали горлицы. Я находил глубокую впадину и с головой бросался в прозрачную влагу.

Дважды меня назначали начальником турпоездов. Сейчас я еще бы подумал, а тогда все происходило буднично и быстро: утром мне сообщали под расписку приказ, а днем я ехал на станцию и принимал состав. Это были первые турпоезда в Новороссийске. Сначала 360 горожан совершили путешествие в Волгоград, затем в Кабардино-Балкарию и курортную зону Ставрополя. В пути я обходил вагоны и знакомился с пассажирами, выслушивал пожелания, подбирал исполнителей для радиоконцертов. Энтузиастов хватало: читали стихи, пели песни, поздравляли родных и друзей. В Нальчике, на вокзале, встречало руководство местного турбюро. Мне организовали персональную экскурсию, покатали на канатной дороге, накормили шашлыком. Не скрою, я был смущён, никогда прежде не встречал такой предупредительности и внимания. С чувством сожаления и грусти мы оставляли этот чудесный город – необъятный благоухающий сад, окутанный прозрачным горным воздухом. Особенно восхищалась моя бабуля: «Вот где я осталась бы навсегда!» Знакомая учительница уже в пути сказала мне: «Ну, какой вы начальник? Ни осанки, ни важности. Видели, как ведут себя настоящие начальники? Рядом с ними вы были мальчиком». Мы посмеялись, и я согласился, что начальственным обликом не обладаю и в малой степени, а разыгрывать эту роль нет желания. «Жаль, значит начальником вам не быть», – предсказала знакомая и не ошиблась.

Зимой 1970 Ирина Ивановна предложила мне разработать к ленинскому юбилею новую городскую экскурсию. Приступив к работе, я обнаружил, что по разным поводам Ленин неоднократно обращался к черноморскому городу, начиная с «Новороссийской республики» и кончая восстановлением торгового порта. Получилось довольно интересное путешествие, в котором местная история переплелась с биографией вождя. Я старательно избегал слащавости, газетного стиля и ложной патетики. Заканчивал экскурсию так: «В Новороссийске имя Ленина встречается повсюду. Эта традиция сложилась после смерти великого человека и заботливо поддерживается в Советской стране. Зная личную скромность Ленина, думаю, что он был бы более счастлив, если бы видел, что дело его живёт не столько в памятниках, сколько в делах и планах поколений». Слушатели оживились, один из методистов подытожил: «Сложилось впечатление, что Ленин всю жизнь только и занимался Новороссийском. Мы понимаем, что масштаб намеренно увеличен, но в данном случае это оправданно». Моя экскурсия оказалась долговечной, я нашёл её в рекламном буклете Новороссийского бюро путешествий и экскурсий на 1988 год.

Следующей и последней моей экскурсией стал «Новороссийск писательский». Пересмотрел много литературы, собрал малоизвестный и занимательный материал и придумал для каж-

дого эпизода особую форму изложения: диалог влюбленных Чехова и Книппер, встретившихся в Новороссийске; внутренний монолог-размышление о жизни Николая Островского в приморском парке; рассказ Гладкова о работе над «Цементом» у стен завода; путевой дневник Гл. Успенского о раннем Новороссийске на набережной; воспоминания очевидцев о молодом Вишневском в порту и т. д. В этой экскурсии в наибольшей степени мне удалось осуществить принцип художественности. Обыкновенная документальная экскурсия – это набор справочной информации, не более, и затрагивает слушателей поверхностно. Свои соображения я высказал на совещании экскурсионных работников в апреле 1970, где обсуждалась подготовка к 25-летию Победы.

«Где истоки подвига? Почему идут на подвиг так безумно смело? Неужели подвиг доступен любому и всегда случаен? Не опростить этот великий порыв, заставить готовиться к нему, думать о нём – наша задача. Экскурсовод должен показать человека войны, творца подвига. Здесь не отделаться общими фразами. Если экскурсовод не обладает данными для такого разговора, если у него отсутствуют навыки элементарного перевоплощения, владения голосом и жестами, умение присутствовать в рассказе, то не следует и приступать. Ныне патриотическая экскурсия не может ограничиться барабанным боем и победным салютом, слушателей утомит однообразный тон, и они быстро потеряют интерес. 2—3 минуты займут на Малой земле строчки из солдатского письма: простые, понятные всем заботы о жене, детях; скупое сообщение о гибели друга; тоска по дому – но как много эти минуты всколыхнут в душе каждого, какой болью наполнят сердца живых. Дайте возможность насладиться красотой окрестного пейзажа. Природа – одна из радостей жизни, война лишает этой радости. На Малой земле с её морскими далями, окутанными дымкой хребтами гор слушатели не могут не сравнить в воображении две противоположных картины – нынешнюю и фронтовую. Им станет понятно, как горько и мучительно было солдатам умирать посреди такого великолепия. Но они выполнили свой долг перед Родиной. Так мирный пейзаж можно раздвинуть во времени, сделать источником гражданских и эстетических чувств.

Сделайте с этой же целью «Неизвестного матроса» главной фигурой Новороссийской десантной операции. Его облик в памятнике статичен, но экскурсовод может несколькими штрихами показать этого богатыря накануне решающей битвы, передать его внешне спокойную сосредоточенность и накал страстей в душе, волевою собранность и готовность к любому повороту. Не бойтесь рисовать остроконфликтные ситуации, временную растерянность и замешательство, лихорадочные поиски выхода. Победа оплачена дорогой ценой, боевой опыт стоил многих жертв, просчёты и ошибки – крови. Слушатели должны сделать вывод, что война – это гигантский труд, работа мышц и ума. Воспитать патриота можно лишь тогда, когда сам будешь убеждённым патриотом, когда захочешь поделиться наблюдениями и раздумьями. Этого невозможно добиться только на время экскурсии, всякая же фальшь и риторика будут немедленно распознаны аудиторией».

В 1972 мне вручили удостоверение «Лучший экскурсовод» – первому в Новороссийске, а через полгода, с дипломом университета, я уехал к матери в Сибирь и открыл ещё одно направление своей жизни. Вскоре после отъезда Новороссийску было присвоено звание города-героя. Я не удивился, услышав радостную весть. После экскурсий меня часто спрашивали: «А почему Новороссийск не город-герой?» И я уверенно отвечал: «Дойдет очередь и до Новороссийска». Дошла.

Становление

1967 – 1971. Появилась такая потребность в дневнике, которой раньше не было и не могло быть. Я начинаю постигать смысл многих вещей, размышляю о жизни, людях, книгах. Зачатки этого были и прежде, но тогда я стремился больше впитывать. Упивался искусством, самозабвенно трудился, был обуреваем доброй слепотой. Для той эпохи характерна одна черта – восторженность, но не рассудок. Я жил преимущественно чувствами, и только теперь определяю свое кредо. Юность не прошла зря. Она укрепила здоровым оптимизмом, уберегла от самонадеянности и верхоглядства, научила постоянно работать над собой. Меня не коснулись болезни молодых: скепсис и рационализм, увлечение атрибутами моды, наигранный нигилизм. Да мало ли чем хотят блеснуть в молодости, подменяя истинное содержание вызывающей бравадой. Сейчас к чувствам присоединяется разум, и мне хочется кое-что сохранить для будущего. Вдобавок, мною движет интерес историка.

50-летие Октябрьской революции, Брежнев выступает на юбилейном заседании. Много в речи хорошего, а прошло всего полвека. Что-то будет еще через полвека? Плоды Октября ощутила прежде всего отдельная личность: безграничный простор для познания, любимого труда, духовного роста. Революция подняла обыкновенного человека на невиданную высоту, сделала честным, сильным и гордым. А этим определились наши успехи. Вообще моему поколению будут завидовать. Родились в год Победы, детство отмечено послевоенными тяготами и пафосом восстановления. Наши отцы и матери воевали, рядом участники революции, гражданской войны, первых пятилеток. А мы будем связующим звеном между довоенным и послевоенным поколениями. Завидная участь!

(Не знаю, как насчет зависти. А то, что стали связующим (или разделяющим?) звеном – это случилось. Маленькое и весьма важное уточнение: между советскими и несоветскими поколениями. Мы из тех, кто знали и пережили то, что никому уже не доведется. Пока у «новеньких» преобладают отрицание и жалость. Посмотрим!)

Странное состояние не покидает меня. Кажется, что атмосфера общественной жизни натянутая и слащавая. По крайней мере, такой она представляется со страниц газет и экрана. А ведь ясно, что наша жизнь не ограничивается славными починами, трудовыми победами и спортом. Что думает современник? Каковы люди нашего времени? Противен процесс духовной нивелировки. Вырабатывается какая-то пресловутая «правильная» линия поведения и проводится грубо, до тошноты приторно. А ведь в сознании идёт сложная жизнь и не может не идти, если человек не одеревенел окончательно. Хорошо, что есть гениальные книги – поддерживают, окрыляют. Твардовский – великий поэт. Читал его стихотворения последних лет, свежие и сильные, с огромным смыслом.

Сильнейшее впечатление от «Манфреда». К музыке обращаюсь всякий раз, когда испытываю неодолимое влечение. В ней действительно находишь опору в разных состояниях души.

Всё приобретаю с трудом, многого не понимаю, а природной хватки нет. Какой-то середнячок между обывателем и интеллигентом. А достоинство в полной мере развито у того, кто знает себе цену. Человеку скромных способностей остаётся окунуться в труд и не выделяться, ибо выделение будет амбициозным.

Непрерывное общение с молодёжью 15—17 лет. Интересно наблюдать, слушать, делать выводы. Время сложное, а взрослые не на высоте, дидактика же пользы не приносит. Кто не просто износил жизнь, а осмысленно, к тому юнцы тянутся сами. Практичность должна быть присуща каждому, но она должна слиться с нравственным отношением к жизни, познанием с высоты добра, веры, правды. Так, как народ осознаёт свою историю в былинах, песнях, сказках. В воспитании прививают либо одно, либо другое, и вырастают восторженные идеалисты или хладнокровные дельцы.

Читал урывками, между учебниками, «Живых и мертвых». Когда дошёл то того места, где 300 измученных людей выходят с боем из окружения, то не сдержался и заплакал. Что все мои переживания по сравнению с огромным и жгучим чувством, охватившим миллионы людей в первый же день войны! Что все мои размышления о жизни и смерти, которые тогда вмиг обесценились, а Синцов, Серпилин, маленькая докторша, старик сумели подняться выше убеждений эгоистичного рассудка. Минувшая война для меня то же самое, чем для Герцена был 12-й год. Я задаю себе те же вопросы, какими мучились в 41-м. Но мои отцы не прятались за навязчивыми вопросами, когда увидели за ними неизбежное.

Шум вокруг «Нашего современника». Честный, искренний фильм, но запоздал лет на пять, если не больше.

«Исповедь» Руссо достойна глубочайшего уважения, я подписываюсь под этой смелой и человечной книгой. Скажу тем, кто хочет разобраться в себе и других: читайте «Исповедь». Мы терзаемся угрызениями искусственной совести. Руссо сбросил псевдоморальные оковы и показал человека в его истинном движении.

В Китае недорослей не пугает абсолютное сходство между собой, их славу решили разделить в Варшаве. Ослы! Этот нигилизм мне хорошо знаком по экспедиции: без царя в голове. Думаю, что красота цветущей вишневой ветки может излечить таких людей от всего наносного, и Саша согласился. Только одна ветка!

Осознал, что безгрешным и бесстрастным всю жизнь не проживёшь, даже оправдывая подобную позицию мерой терпимости или неприятия. В каких пределах можно оставаться спокойным за совесть? Всякий раз решать самому, но дрянь не щадить, несмотря на поражения.

Новый космонавт, юбилей комсомола и соответствующее отражение на радио и ТВ. Начиная понимать неизбежность пропаганды для подавляющего большинства, иначе незанятый ум обратится к первобытной основе, как в Чехии. Не скоро наступит царство философов. Мудрецы всех времён об одном, а народ – о другом. Почва есть, условия есть, но только начало переворота, и надобно работать для него. Ни утописты, ни Толстой не ошибались, но они начинали с конца.

Нет, был не прав, одобряя методы наступления. Это не забота о людях, а торможение роста. Надо двигать вперёд все области наших отношений, а не делать это обособленно только в школе. Сизифов труд.

Новый год в компании друзей Зориных. Анекдоты на вечную тему, скука от пустой болтовни. Все они слывят за порядочных людей, исправно работают, занимают престижные должности и всем довольны. Не дай бог так жить. Ведь этих людей однажды уже обманули, а они не заметили, не спохватились. Единственной реакцией стало отчетливое разделение жизни на служебную и личную, то, что почти не встречалось до войны и после войны. Тенденция развития всё явственнее проступает наружу, а эти люди понять не в состоянии. Теперь нужны не просто исполнительные работники, а личности, и недопустимо внушать слабым людям изо дня в день стандартный набор материального и морального благополучия. Могут быть большие трагедии.

Помню чтение Писарева – как он всколыхнул и обрадовал! Нескончаемый поток ума и отваги, независимости и дерзости. Он сказал мне: не бойся, не укрощай себя, верь себе. «Три минуты молчания» Владимирова написаны с писаревской смелостью. Наши охранители поспешили распять его без гвоздей – чернилами.

Как мы будем жить дальше? Тревожит, а правильного ответа не найду. Понимаю, что существующая неразбериха есть следствие исчезновения народа как целостного общества со своей духовной и трудовой жизнью. Ни о каком народе в прежнем, глубинном смысле и речи быть не может. Есть аморфная масса, в ней преобладают черты зависимости и полное отсутствие достоинства. Из массы должен сформироваться новый народ, но это такая даль, в которую и заглянуть-то страшно.

Что ни дом, то гнёздышко, плетут и утепляют с завидным усердием всю жизнь. Если бы каждый положил на себя хоть ИЮ этих трудов! А газетки бьют из пушек по воробьям, заштопают в одном месте – в другом прореха. Что поделаешь: масса-то передовая, а вот единицы портят картину. Тон, тон надобно менять, чтобы разворошить эту советскую массу. Запоем перечитал Щедрина. «История одного города» – наш скотный двор с послушной скотиной и болванами-скотниками. За границей двор почище, а в остальном мы на равных.

Нобелевская премия Солженицыну. Как с Буниным? Ничего не могу сказать, ибо он лишен слова. Явная подлость – бить поверженного. Если его мужество есть то, что подозреваю, я предпочитаю быть рядом.

Моряки с «Шушенского» пригласили на обед – отзывчивые, признательные ленинградцы. Еще одно объяснение Сталина в «Блокаде», словно он представляет загадку. Загадка в нас самих, но об этом предпочитают молчать.

Общение с людьми, за редкими исключениями, умаляет и искажает меня. Это химера – быть самим собой, ведь общество не выбирают. Всё боюсь успокоиться, не думать, и каждый раз, встречая острую мысль или человека, вижу: мне это не грозит. Беседовать с собой – занятие скучное. Нет живого дыхания, взаимного влечения – всего, что составляет обаяние умного разговора. Иной из них способен далеко продвинуть вперед.

Жажда лучшего проглядывает повсюду. Все хотят сытно и вкусно есть, модно одеваться, обзавестись полированной мебелью и полкой книг. Словом, комфорт и доставок стали непременным условием домашнего очага. Но насколько возросла тяга к устройству личного, настолько охладел интерес к общим делам. Поэтому рядом с комфортом – развал и запустение. В молодых лицах пошлость забывается свежестью и румянцем. К тридцати наружность приходит в соответствие с внутренностью.

Отчего многие страшатся свободы? Она не терпит пустоты, суеты, мелочных интересов, ей мало рабской работы рук и автоматизма. Испытание свободой проходят немногие, располагают ею и того меньше. Я – неисправимый утопист, не прощаю доверчивости и послушания, этих продуктов неразвитости и приниженности.

На семинаре говорили о неизбежности противоречий. Этакой шапкой можно прикрыть всё. Если на противоречия не реагируют, они вырождаются в идиотизм и перестают быть естественными. Есть политики, нет мудрецов.

Партийная вакханалия кончилась, можно отдохнуть от оваций и лозунгов. А ведь они осознают, что жизнь расщепляется и идёт своим руслом, мимо них, и все эти демонстрации от бессилия. Ни к чему серьёзному и разумному эти люди уже не способны, и чем скорее они уйдут – тем лучше.

Из Сибири. Дорогой смотрел на мрачные вокзалы, чёрные деревни, ветхие дома и видел: как необъятна и неустроенна ещё Россия, сколько грубых и нелепых вещей отравляют жизнь народа, оскорбляют и калечат. Где же возникнуть здесь тонкому вкусу и чувству прекрасного? Страдания Христа нейдут на ум, когда перед глазами муки миллионов, так призрачна одинокая жизнь, а катастрофы вызываются человеческими руками.

Почему мне так трудно? Я на всех ветрах, не укрыться, всё потеряло привлекательность и новизну. В 26 лет начать жизнь заново нельзя, но продолжать достойно необходимо. Утешаюсь тем, что не один, много кругом несчастных: не подозревающих, не признающихся или свыкшихся. Их судьба – моя, а благополучных – ненавижу. Много среди них прикрытых мерзавцев.

Лёха

Это был портовый матрос – долговязый и весёлый, лет 25. Он поселился у хозяйки раньше меня и встретил великодушным предложением: «Ты кто? Экскурсовод? Не встречал таких головастиков. Ладно, занимай хату и разбирай манатки». Так мы сошлись и прожили в одной комнате почти 2 года. Вместе воровали клубнику на загородных дачах, вместе шатались по знаменитой портовой барахолке, вместе пировали. Вечером Лёха жарил выловленную с причала длинноносую иглу, а я выставлял бутылку «Столового».

Его жена Тамара жила с дочкой где-то в Ростовской области, в родительском доме, и изредка приезжала в гости. Тогда накрывался стол, супруги не скупясь наливали друг другу, быстро хмелели и начинали обниматься: «Рыбка ты моя. Летушок кареглазый». После длительного обмена нежностями, Лёха нетвердо поднимался из-за стола и командовал мне: «Гаси свет!»

Он вставал рано утром, бесшумно собирался и уходил на работу. Однажды, примерно через полчаса, Лёха вернулся с дороги и прошёл к своей тумбочке. Тамара крепко спала, а я спросил: «Ты чего?» Не глядя на меня, Лёха буркнул: «Деньги на обед забыл», – и осторожно прикрыл за собой дверь. «Ах ты, хитрец, – догадался я. – Сам до чужих жён охоч и своей не доверяешь». После отъезда Тамары я упрекнул приятеля в подозрительности, и он не стал запереться: «Понимаешь, когда под боком хорошая баба лежит – почему не взять?»

Лёха не читал книг, и я занялся его просвещением. Он оказался восприимчивым и благодарным слушателем. Поначалу обращался я: «Почитать?» Прошло несколько дней, и Лёха сам стал просить: «Почитай-ка что-нибудь». Начали с рассказов Бунина, потом перешли на крупные вещи. Летом 69-го в «Новом мире» печатался роман Владимова «Три минуты молчания». Я был восхищён его суровым реализмом и страстным призывом слушать и ценить каждого человека. Покупал журналы в киосках и нервничал, если очередной № задерживался. Я не сомневался, что роман из жизни моряков понравится Лёхе, и не ошибся. Он с первых страниц влюбился в Сеню Шалая: «Настоящий братишка». Ненастоящих Лёха крыл по-матросски и каждый раз грозился: «Я бы их за борт бросал – вместо якоря».

Потом пришла очередь «Тихого Дона». После ужина мой приятель растягивался на кровати, а я открывал на заложенной странице книгу и превращался в Григория, Аксинью, Наталью, Степана, Дарью... Лёха слушал не шелохнувшись, положив голову на сцепленные руки. Стоило мне перевести дух, как он подстёгивал: «Дальше». И я с колотящимся сердцем продолжал.

Наконец произнёс последнюю фразу и услышал: «Ну и намучился мужик».

БЫЛИНЫ

Незадолго до смерти Гоголь собрал воедино свои наиболее значительные письма и опубликовал отдельной книгой под названием «Выбранные места из переписки с друзьями». Унылая картина русской действительности толкала Гоголя к историческим сопоставлениям, и в этом смысле немалый интерес представляет его статья «Об Одиссее, переводимой Жуковским». Мир древнегреческого эпоса писатель примеряет к России и оказывается, что огромный временной промежуток ни на шаг не продвинул людей по пути нравственного прогресса. Скорей наоборот: **«...мы, со всеми нашими огромными средствами и орудиями к совершенствованию, с опытами всех веков, с гибкой, переимчивой нашей природой, с религией... умели дойти до какого-то неряшества и неустройства как внешнего, так и внутреннего, умели сделаться лоскутными, мелкими,... опротивели до того друг другу, что не уважает никто никого...»** Было от чего впасть в отчаяние и попытаться обмануть себя тем, что «Одиссея», может быть, сделает на родине то, что не смогли сделать ни время, ни правители. Конечно, проще всего упрекнуть художника в непонимании закономерностей общественного развития, идеализации прошлого, преувеличениях. Но вопрос об отношении современности к эпосу, который поставил Гоголь, тем самым не разрешится, не притупится его вечная острота: лучше или хуже стал человек? Это вопрос о соотношении материальной цивилизации и духовной культуры, о способности государства стимулировать или тормозить социальную политику. Человечество достигло технического могущества, но оно все так же далеко от подлинной свободы, той социальной гармонии, о которой всегда мечтали великие умы. И не потому ли мудрецы обращались к эпосу, что находили в нём то, чего так не хватало современности: господство народной инициативы, красоту и цельность личности, раскрепощённость внутреннего мира. Не потому ли так пристально вглядываются в эпос, что он сохранил отблеск короткого, но необычайно плодотворного взлёта народной жизни в переходный период от бесклассового общества к классовому? Герои былин ещё не связаны рабскими путями, над их сознанием не довлеет мораль покорности и христианского смирения. Их жажде подвига не противостоит беспощадная и косная государственная машина. И иго татарщины, и ужасы деспотизма – всё впереди. Взятые в дорогу лишь безусловные ценности родового общежития: коллективизм, честь и верность, любовь к родной земле, стойкость в испытаниях.

Путь духовного развития продолжается. Всё более возрастает роль государства в этом процессе и, следовательно, его ответственность за искривления и извращения на многотрудном пути. Былины, драгоценный источник народной культуры, свод жизненной мудрости, должны полностью раствориться в сознании общества, стать мерилем его духовной зрелости.

Добрыня – воплощение старшей княжеской дружины: талантливой, деятельной, свободной от родовых предрассудков. Его судьба – яркий пример возвышения человека незнатного, с младости повязанного службой князю. Во дворце Добрыня отшлифовал богатые природные способности, мы видим человека разностороннего и культурного, его качества не заглушены и не подавлены службой верховному владыке.

Характеристика Добрыни показывает, насколько ярко могла раскрыться личность в эпоху Киевской Руси. Чего только он ни знает, ни умеет: «горазд плавать по быстрым рекам», «изучился вострой грамоте», «научился да боротисе», «мастер метать» палицу, играет на гусях и поёт, искусный шахматист. Все свои таланты Добрыня постоянно использует. Характер его деятельности таков, что требует обширных знаний и умений: выполнение ли то дипломатической миссии, подготовка ли похода, осуществление ли брачных намерений Владимира, напряженная ли работа по внедрению христианства... Народность, как фундаментальная черта, получает в Добрыне наивысшее развитие благодаря приобретённому образованию и государственному опыту. Его кругозор шире, внутренний мир сложнее и утончённее, его талант уни-

версален. Многоцветный образ мудрого и культурного Добрыни живёт в былинах как провозвестник полного развития неисчерпаемых духовных сил русского народа. Такие деятели появляются только в периоды совпадения общественных и государственных интересов, что и наблюдалось в конце X века. Как только эти интересы расходятся, Добрыни сходят со сцены или перерождаются. А народный характер вновь выступает в своём первозданном качестве – трудовом и героическом. Поэтому образ Добрыни представляется мне более символическим, пророческим, чем образы других богатырей.

Илья Муромец – любимое детище народа, его личность – пример органичного проникновения простых людей в сферу общественно-значимой деятельности. Рука об руку с Ильёй стоят Добрыня и Алёша Попович, выходцы из иной социальной среды. Их единение, братство понятны. Но товарищи – не дополнение Ильи, не фон, а самостоятельные фигуры, во многом отличные от Ильи. У них часто проступают свои, особые интересы, они решают задачи и участвуют в делах, непосредственно не связанных с безопасностью Руси. Илью невозможно представить вне схваток с врагами, вне дум и забот о благополучии родной земли. Последовательность, верность долгу этого героя на протяжении всего былинного цикла изумительны. Как истинный сын народа, он вырос вместе с ним, накапливал жизненный опыт и ненависть к притеснителям. Бунт Ильи против коварного неблагодарного Владимира отразил социальные противоречия, нарастающий разлад между низами и правящими верхами.

«Чисто поле», «добрый конь», «бел шатёр», «поездочка богатырская» – неотъемлемые принадлежности большинства былин. Их герои постоянно в разъездах, готовы к поединку и бою, к любой внезапной опасности. Беспокойная бивачная жизнь неотразимо действовала на мужчин, выковывая тот особый их тип, для которого характерны свободолюбие, решительность, отвага.

Добрыня в чистом поле наезжает на чёрный шатёр Дуная и разоряет его, уязвлённый, как ему кажется, вызывающе-дерзкой надписью на «чарочке позолоченной». Дунай вступает в бой с обидчиком-«невежей», и в состоянии противоборства богатырей застаёт Илью, названный брат Дуная (вряд ли Илья побратается с изменником). Каждый из противников излагает Илье свою обиду и просит рассудить. Исповеди богатырей составляют ядро этой замечательной былины. Кого же осудит и кого оправдает народный заступник? И когда кажется, что исход поединка предрешён, происходит неожиданное: Илья, в сущности, отказывает богатырям в последнем слове, он поочерёдно поддерживает то одного, то другого «поединщика». В итоге он примиряет соперников, подчиняясь смутному внутреннему побуждению, и отправляется с ними в Киев на княжеский двор.

В Киеве сцена повторяется, но в отличие от Муромца, который отстранился от суда над богатырями, князь решает дело круто, и Дунай брошен в земляную тюрьму. Для Владимира не существует противоречия, заставившего Илью усомниться в своём праве судить других. Сомнение в незыблемости традиционных подходов к человеку придаёт облику старшего богатыря волнующую философскую глубину. Он разрешает конфликт тем, что выходит из него, встаёт над частной правдой каждого из соперников и соединяет их правдой прощения и согласия.

Илья Муромец – фигура героическая и одновременно трагическая. Он вырван из родной среды, у него нет и не может быть семьи. Старые патриархальные связи в прошлом, новые не складываются; их место заняли связи служебные, интересы государственные. Из всех богатырей лишь одного Илью былины сталкивают с сыном. Сын – враг, но какова тяга Ильи к семье: он забывает на миг об опасности и того, кто его чуть было не убил, называет «дитя моё сердечное», наказывает про мать: «привези ей ты нонче в стольно Киев-град». Но не дано простого человеческого счастья. Слияние личного и общественного, которое на время торжествует в сюжете, разрушено в пользу последнего. Сын убит, и снова впереди сражения и дозоры на заставе богатырской. На отношения отца и сына наложились веления надличного долга,

необходимости и смяли их. Сколько раз в русском искусстве будет громко и драматично звучать эта тема. Народный эпос заметил её и развернул в столкновении незаурядных характеров ещё на заре русской истории, ярко показал разобщённость людей и зависимость от неподвластных им сил и обстоятельств.

В какой-то мере былина «Три поездки Ильи» подводит итог. Впервые богатырь свободен от князя и его поручений, не ввязывается в схватки. Тут разлито спокойное сознание выполнено долга, углублённость в себя, неизбежные раздумья на склоне лет. Как раз в эту пору ему попадается чудный камень с перечислением вариантов человеческой судьбы и ставит богатыря перед выбором: куда направиться? Мало кто пойдёт туда, где «убиту быть», т. е. захочет подвергнуться смертельному риску; большинство предпочитает «женату быть» и «богату быть». Илья и на сей раз остается верен себе и подтверждает только то, что сделал давным-давно, в начале жизни: «А й пожил я ведь, добрый молодец, на сем свете, И походил-погулял ведь добрый молодец». Вот чем может показаться стороннему наблюдателю его неприкаянная жизнь: ходил-гулял... Но мы-то знаем, что «старый казак» Илья Муромец прокладывал, «очищал дорожки прямоезжие». Чтобы другие беспрепятственно ходили и гуляли. (1969)

Столкновение

Поздней осенью 69-го меня наградили бесплатной путевкой в дом отдыха, и я поехал в Анапу как отдыхающий. В трехместном номере моими соседями оказались Колян и Толян – здоровенные мужики лет под 30 из строительного треста. Они отличались только лицами: у Толяна круглое и масляное, как блин, у Коляна – квадратное, со скошенным подбородком. В первый же день они несколько раз сбежали в магазин и к отбою изрядно нагрузились. «Присаживайся, кореш, – позвали меня и, услышав отказ, Толян зыркнул налитыми кровью глазами. – Брезгуешь, значит... Ну и хрен с тобой, переживем». Ночью дружки отсутствовали и ввалились только к завтраку, довольные и возбужденные. А за обедом я обнаружил в своей тарелке под вермишелью вторую, дополнительную, котлету. Мои знакомые с набитыми ртами переглянулись и фыркнули: «Что, не ожидал? Рубай и помалкивай, это подарок».

После обеда они признались, что ухаживают за стряпухами, и те выражают свои симпатии усиленными порциями. «Горячая деваха, – облизывался Колян. – Хотел уснуть хоть часок – куда там: всю ночь жарила». Прошло дня два. Я бродил по пустынному пляжу, сидел в библиотеке, ходил на массовки и в кино. Во время тихого часа Толян откупорил бутылку и спросил: «Ты что, кореш, книжки приехал читать? Или монахом заделался? Чо зеваешь? Такие бабочки есть аппетитные – сами напрашиваются. Про тебя уже одна спрашивала. Познакомить?» – «Не стоит, – примирительно ответил я, – у меня есть знакомые». – «Ну так чо? Думаешь, у нас нету? Ты в доме отдыха или на подлодке? Значит, отдыхай, тут больше делать нечего». Я промолчал. «Он с нами базарить не хочет, друган, – заревел мужик. – он, видишь ли, культурный, правильный, а мы – работяги, крановщики». – «Пидарас он, – подхватил собутыльник. – Слышишь, ты?! Пидарас и козел!» И на меня обрушился град такой гнусной матерщины, что я поторопился выйти вон.

На следующее утро, после завтрака, я покинул дом отдыха и вернулся в Новороссийск. «Что случилось? – спросили на работе. – Заболел? – «Нет, заскучал – делать нечего», – успокоил я коллег. И с тех пор избегаю многолюдных мест отдыха. Кем бы я стал, если бы поддался один раз, другой, третий? Моя природа подсказала: отступай, но не уступай.

Калачинск

В 72-м, с дипломом историка, я приехал в пристанционный городок и был назначен зам. директора в большую новую школу. Предоставили и временное жильё – 9-метровую каморку с печью в рабочем бараке. Встретили меня радушно: как же, из большого южного города уехал добровольно в сибирскую глубинку. Коллектив был сборный, все приглядывались и приспособивались, и в этой раскованной обстановке я начинал легко и воодушевлёно. В моём кабинете разместился комитет комсомола, постоянно толпилась молодёжь: заседали, спорили, репетировали, выпускали стенгазету... С первых же занятий я стал любимцем учеников 4-х классов: они пожирали меня глазами, ловили каждое слово, окружали после звонка и сопровождали до учительской. Их преданность и обожание кружили голову, я с нетерпением ожидал очередных уроков. Помню, как один из мальчишек долго не мог отыскать в портфеле ручку, запоздал и начал переспрашивать. Немедленно к нему повернулся самый сильный в классе Слава Фурманчук и показал кулак. Я, конечно, одёрнул драчуна, и Славка обиженно возразил: «А чего он возникает?» Словом, моя школьная жизнь начиналась как педагогическая поэма, и вдруг всё мгновенно оборвалось. Месяца через два меня вызвали в райком комсомола и потребовали объяснить, почему я не встал на учёт. По документам мне шёл 28-й год, комсомольский возраст завершался, и я ответил, что взносы продолжаю платить аккуратно, а постановке на учёт не придаю никакого значения. Увы, я совсем не знал автоматизма и беспощадности партийно-комсомольской машины.

Немедленно создали «персональное дело», и на бюро райкома обвинили в идейной незрелости. Я стоял перед «высоким» руководством и выслушивал, как они, заранее сговорившись, хлестали меня по очереди: обманул, скрыл, не оправдал, не имеет права воспитывать (через 13 лет точно такие же слова мне бросали на бюро райкома партии и снова «выразили недоверие»). Но вместо страха внутри закипала волна негодования. За что? в чём я провинился? разве я преступник? Почему они оскорбляют меня как мальчишку-шалопая? Выдерживая намеченный сценарий, первый секретарь Баранова подвела черту: «Вы совершили непростительную ошибку и потеряли наше доверие. Мы смотрели на вас, как на молодого перспективного специалиста, вам был открыт путь в партию. Если вы сделаете серьёзные выводы и признаете свою вину, райком комсомола готов закрыть персональное дело».

Во мне поднялась гордость. Я посмотрел в глаза Барановой и отчеканил: «Если доверие зависит от бумажки, я никогда не признаю своей вины». Райкомовцы возмущённо зашумели: «Это вызов. Хватит его уговаривать. Исключить!» – и Баранова, вся в красных пятнах, отрезала: «Мы могли бы ограничиться выговором, но вы сами поставили себя вне Союза. Комсомольский билет на стол!»

Я выложил билет и порывисто вышел из кабинета. Знал, что последствия наступят незамедлительно, но не переживал – была какая-то отстранённость. Директриса, добрейшая Мария Николаевна Блынская, на следующий день мягко укоряла: «Зря вы погорячились, И.А., у кого из нас нет выговоров. Как видите – не умерли, живем, работаем. Никто и внимания не обратил бы. Так хорошо начали, а теперь, сами понимаете, у вас останутся одни часы. Могу предложить дополнительно уроки английского». На том и поладили; про себя я уже решил, что уеду сразу же после учебного года.

Ученики по-прежнему радовали вниманием и старательностью, но мною овладела хандра. Почему я оказался в этом скверном городке, в окружении мерзких физиономий, на положении поднадзорного, в жалкой и смешной роли школьного учителя? Обстоятельства переменились, но неизменны люди, жизнь. Я был занят, и все вокруг заняты и даже гордятся этим, а мне казалось, что занятость такого рода хуже всякого безделья. Большинству взрослых и детей не под силу расточительность и дробность нашего века, они находятся в плену его гру-

бых приманок, не умеют выбирать. Они обжираются объедками, проходя мимо изысканных яств.

Через 19 лет от меня отказалась партия, как и от 18 миллионов таких же, как я, коммунистов. После августовских событий и самороспуска парткомов, школьный секретарь перестал собирать взносы, и я убрал с глаз ненужный партбилет. Я вступил в партию в 1981, по предложению совхозного парткома, и не торопился выйти из партии тогда, когда доблести для возврата партбилета уже не требовалось. Тысячи обилеченных попутчиков отrekliсь на моих глазах от звания коммуниста и оплёвывали поверженную КПСС. Тогда-то, в разгар сумбурной перестройки, запустили ложь о том, что социализм не поддаётся реформированию. Я поверил в эту ложь одним из последних и несколько лет ждал честных выстраданных перемен. То, что произошло, перечеркнуло наши надежды, каждый год обнажал всё сильнее страшную харю «демократической России». Обуржуазившаяся советская верхушка с облегчением сдала вылупившемуся капиталу и партию с её идеалами, и социализм. Колоссальные жертвы, провалы, преступления начинают подсчитывать сейчас, через полтора десятка лет, и главный итог – впереди. А свой неиспользованный партбилет я сдал в музей народного образования – там ему место.

Эпоха

Новейшая биография Брежнева с подзаголовком «Золотой век социализма». Преувеличения нет, 70-80-е гг. были пиком материальных и культурных достижений Советского Союза. Бесспорно, по стране картина складывалась пёстрая. Например, Нечерноземье и Поволжье были беднее, Сев. Кавказ и Сибирь, где я жил, побогаче. Когда в 1973 мы приехали в Тёткино на Украину, то из продуктов, кроме хлеба, смогли найти лишь отвратительную колбасу кровавого цвета, да и ту расхватывали моментально большими сумками. Тем не менее, именно в те годы простой народ впервые получил широкий доступ к образованию, медицине, жилью, отдыху. Сельские магазины, как правило, выглядели обильнее городских, здесь свободно покупали даже импортные товары. Что касается книг, то самые ценные и интересные я приобрёл в районах, в городе они до прилавка не доходили. Сейчас любят бичевать коммунистов за всевозможные дефициты. Я смотрю на витрины и думаю: все нынешние товары по советским ценам смели бы с прилавков за день! Товарный голод во многом объяснялся не объёмами производства, а волюнтаристской ценовой политикой советского руководства: заниженными ценами на продовольствие и завышенными на ряд промтоваров. При растущих доходах населения напряжение на плановом рынке было неизбежным, денежная масса всё больше отрывалась от товарной. Плавающий курс цен наряду с переходом к многоукладной экономике вдохнул бы в социализм свежие силы, но во имя стабильности и доступности коммунисты не отважились на подобные меры. Теперь на смену дефицитам пришли огромные свалки нераспроданных гниющих продуктов.

Во времена Брежнева во всех хозяйствах возвели типовые 2-этажные десятилетки на 300—400 мест, отлично оборудованные и оснащенные вплоть до технических средств – кинопроекторов, телевизоров, эпидиаскопов и пр. В таких школах я учил 10 лет и не завидовал городским учителям. Только в первый год, в Калачинске, я жил в насыпном бараке, и вечерами фабричные рабочие забегали ко мне одолжиться разной мелочью, а взамен предлагали картошку со своих огородов. Они-то и приучили меня расплачиваться за разного рода услуги не деньгами, а бутылками: разгрузить машину – бутылка, наколоть дров – пара бутылок. С тех пор я держу дома запас поллитровок, совсем недавно «благодарил» слесаря-сантехника. В сёлах мне предоставляли просторные 3-комнатные квартиры независимо от того, приезжал я один или с женой. В целинном Добровольске и таёжной Петропавловке мы жили в благоустроенных многоквартирных домах, а под окнами располагался огородный участок; в других местах я занимал половину особняка с собственным двором и огородом и нигде не платил ни рубля: за жилье и услуги расплачивался бюджет. Я покупал в хозяйствах по дешёвке муку и мясо, соседи снабжали молочным, а ученики нередко угощали рыбой из местных водоёмов. Иногда сытно обедал в столовых буквально за копейки. Мне оставалось засадить огород и обеспечить себя овощами. Зарплаты в 120—150 рублей хватало на все расходы, а неистраченное оседало в сберкассе. Рядом со мной ещё лучше жили рабочие и специалисты: большие приусадебные хозяйства, автомобили и мотоциклы, поездки на курорты и в соцстраны. Брежневский «развитой социализм» осмеяли и опорочили. Он действительно разлагался изнутри и не мог быть длительным. Но несколько поколений хранят о той поре благодарную память: до них по-человечески жили немногие.

В 25-ю годовщину смерти Брежнева слушал в московском эфире развязную и самоуверенную радиодевицу, тоже 25-летнюю. Она морочила молодых слушателей затверженными репликами: «Скажите, а сколько лет вы мучились без жилья? А как вы доставали еду? Неужели забыли очереди за колбасой? Может быть, вам нравились политзанятия?» Ей про бесплатные детсады, квартиры, профсоюзные путёвки, послезузовское распределение, а она заложила уши и снова про любимую колбасу и тряпки. Да, славно поработали наёмные трещотки и щелко-

пёры, взрастили целое поколение манкуртов. Это же очевидно, что между поколениями никогда не будет согласия в оценке и понимании вчерашнего прошлого: одни переворачивали годы и жили, другие переворачивают страницы и запущенные мифы, но лишь особо спланированная и направленная пропаганда геббельсовского пошиба может добиться полного извращения истины. Неужели моя эпоха отложится в памяти потомков исключительно охотой на диссидентов и колбасными очередями? Неужели нас будут только оплакивать и жалеть? А ведь мы волновались, работали, любили, спорили – и думали, думали, чёрт возьми! Не о колбасе – о смысле мироздания. Нет, знаю, что через полвека напишут не плоские страшилки, а новую «Войну и мир», и в широкой панораме будут достоверно смешаны свет и тени, счастье и трагедии, боль и радость, победы и поражения – всё, чем переполнена жизнь во все времена.

Контрасты

В 1983 мы с Надей приехали в северный Муромцевский район. Живописные окрестности посёлка сразу покорили мою душу: древний сосновый бор, родниковая речка Шайтанка, заливные луга. Как театральная декорация, на берегу речки возвышались краснокирпичные стены большого винокуренного завода. Он был построен местными купцами ещё

в 1893 г. и сгорел по халатности персонала после войны. Заведующий отделом образования выполнил обещание и вселил в 3-комнатную квартиру в новом учительском доме. Как издавна повелось в сельской местности, благоустройство на поверку оказалась хлипким и ненадёжным: горячей воды вообще не было, и я спускал из батареи тёплую; за холодной часто приходилось ходить в колодец; пол в прихожей, настланный из гнилых досок, внезапно провалился. Рядом со школой находился детдом, куда помещали детей отцов и матерей, лишённых родительских прав, и во всех классах половина учеников приходилась на детдомовцев. Я навещался в это заведение регулярно, и каждый раз преодолевал внутреннее сопротивление. Стоило показаться во дворе, как навстречу устремлялись малолетки с возгласами: «Папа, папа пришёл!» И в коридоре детдома обязательно попадались малыши, которые заглядывали в глаза и спрашивали: «Вы мой папа?»

Зимой 1985 в район прибыла с инспекторской проверкой методист из московского Центрального института усовершенствования учителей. Накануне её приезда меня вызвали в РОНО, и я застал там всеобщую сумятицу: женщины носились из кабинета в кабинет, перебирали папки, стучали на машинках и оформляли стенды.

Знакомая методист-историк из Омска С. Н. Пашина задала несколько вопросов и сообщила новость: «Завтра будем в вашей школе и придем к тебе на уроки. Не растеряешься?» – «Нет, даже интересно. Пусть посмотрит, как работают в глубинке». – «И мы хотим ей показать, что уровень обучения не связан с расстояниями от Москвы. Иди, готовься и отдохни».

Я знал, что многие учителя с ведома и одобрения администрации заранее отработывают, репетируют показательные уроки, и находил этот приём для себя униженным, бесчестным. В любой класс я входил подготовленный, и мои открытые уроки отличались от обычных лишь более детальным и тщательным построением. В учениках я был уверен, они охотно пойдут туда, куда поведу. Урок в 10 классе по обществоведению «Труд при социализме» прошел в форме живого обсуждения письма молодой работницы в «Комсомольскую правду», а выводы помогла сделать Конституция СССР: с её текстом старшеклассники работали самостоятельно. На втором уроке, в 5 классе, я использовал метод сравнения: ученики по плану делились знаниями об Афинах, по этому же плану я рассказывал им о Спарте, а сходство и различие находили сообща. Едва прозвенел звонок, как столичная гостья не удержалась: «Превосходный урок!»

Обсуждение прошло чисто формально. Сыпалась дидактическая терминология, выявлялись мои замыслы и результаты, а секрет успеха знал я один: если интересно самому учителю, будет интересно и ученикам. Меня угнетали длинные зимние ночи, я проклинал медлительный ход будильника: когда же утро? скорей бы в класс. Любовь к профессии рождает вдохновение, отсутствие любви не прикроет ни одна методика. Все остались довольны, уроки жены тоже понравились. Мы не уронили чести района, и нас решили наградить. Через несколько дней директриса заявила, что нас представляют на звание «Учитель-методист», и предложила мне написать на себя деловую характеристику. Я вытаращил глаза: «Неужели характеристика тоже входит в мои обязанности?» – «Не удивляйся, – спокойно ответила хитрая баба. – Для области я написала бы эту бумагу и сама. Но характеристика вместе с представлением пойдёт в Москву, и её следует написать профессионально, учёным языком – чтобы не завернули. У тебя лучше получится». – «Да ведь неудобно и не принято», – промямлил я. – «Неудобно кривить душой, а ты напиши правду». Что делать? Сел и написал, как требовалось. Через 10 лет история повто-

рилась в Омске, но тут объяснили по-иному: «Тебе нужно, ты и хлопочи. Типовая характеристика для тебя не подходит». Что верно, то верно: мне всегда затруднялись давать оценки. Другим я раздаю их щедро, не стесняюсь.

После двух лет мучений в промерзающей квартире моё терпение истощилось, и мы предупредили начальство о предстоящем увольнении. Что тут началось! В райкоме партии меня припугнули тем, что не снимут с партучёта и заставят исполнять партийную дисциплину. Я подключил мать, побывал на приёме в обкоме партии и начал паковать вещи. В конце августа нас вызвали на бюро райкома. Стоял жаркий день, и в зал заседаний я вошёл в цветной сорочке с короткими рукавами. «Это неуважение к членам райкома, нескромность и развязность с вашей стороны», – отчитал первый секретарь Карпов, и все присутствующие, в тёмных костюмах и галстуках, потные и красные, свирепо уставились на меня. Я читал на их лицах: «Эх, нам бы твою вольность». Я сдержанно объяснил, что оделся по сезону и не вижу в этом неуважения к райкому, но Карпов стукнул кулаком: «Замолчите! Вы нарушили партийный этикет, а он не зависит от сезонов».

Теперь я понимаю, насколько он был прав. Сезон давно сменился, но этикет повсюду остался прежний – этикет непререкаемости и непогрешимости. Замахнёшься – и сразу окрик. Моя сорочка разозлила партократа, а то, что зимой мы ложились спать в одежде, не вызвало ни одного слова сочувствия. Я мог бы рассказать, как в первую же зиму вынужден был поставить в спальне железную печь с трубой, выведенной в форточку; как после уроков отправлялся на лесопилку за посёлком, набивал мешок чурками и на санках тащил домой; как приезжала комиссия, и серьёзные дяди в дублёнках обещали исправить положение; как директор детдома, где топилась котельная, обматерил меня и захлопнул перед носом дверь... Мог бы, но жена знала мою вспыльчивость и незаметно толкнула в бок: помолчи, не заводись. Я вежливо предложил кому-нибудь из райкомовцев пожить в нашей квартире хоть с неделю, и председатель райисполкома высокомерно оборвал меня: «Мы знаем и принимаем меры. Не вы один переживаете трудности». Вывать к этим людям было бесполезно, и я замолчал. Утешало то, что задержать нас они не могли: по жалобе матери из обкома последовал звонок с приказом не препятствовать отъезду, и напоследок нам просто устроили головомойку. С выраженным «недоверием» за добросовестную работу мы оставили Муромцевский район.

Земля

Куда уйду от этой политики, этих судов, этих улиц, этих рынков, этих соседей, этих нравов? К этим волнистым снегам, к этой жёлтенькой траве, к этим чёрным вёслам, к этим чижам и синицам, к этим стройным тростникам, к этим багровым закатам, к этим остро мерцающим звёздам... И жалею только об одном: почему с ними не навечно. Скоро, скоро...

Сирень цветёт. Налетит порыв ветра, и ударит в лицо нежный, тонкий аромат – как выдох земли. Берёзовая аллея, тёмная и прохладная, трепещущая каждым листом, вся в солнечных бликах. Совсем другое бытие – благодарная мать-земля: в ответ на усилие выбрасывает зелёный росток и венчает труды плодами. Работаю в классе и на земле, и как многократно перекрывает второе результаты первого наглядностью, весомостью, удовольствием. Ведь сею в почву, а не на камни.

Яблоня в цвету под моим окном, на моей земле. Не чувство собственника разыграло, а радость ещё одного, заслуженного, обретения. Теперь свободный день и час – своей земле и дому. Погружённый в череду деревенских забот, не усвоил ни одной мысли – всецело приворожен землёй. Только ей одной стоит поклоняться, искать защиты и спасения подобно язычникам. Золотистые сосняки, их буйный аромат. В молодых борах такая чистота, как в прибранной избе. Так и у людей: благостное, неомрачённое начало, а потом гниль, вырубки, бурелом.

Время распалось на две неравные части – там и здесь. Здесь – дело и деньги, усталость, мусор межчеловеческого трения, бескровная война; там – погружение и растворение в эфире, полнота одиночества под сенью берёз и сосен, подлинное перевоплощение. Здесь я – пигмей, соринка; там – космическое существо, открытое во все стороны и вбирающее энергию природы. Да и натура моя монашеская, лесная, молчаливая. Всегда уходил от разговоров о себе, от саморекламы, карьеры.

Всё больше и больше природа, исключая музыку, вытесняет всё остальное. Если бы почему-либо стали невозможны мои походы в пустыню, стала бы невозможной и жизнь в том виде, как я её веду. Это – быть с собой и миром без преград и посредников.

Подтвердилось убеждение, что «обитатели леса не борются между собой. Наоборот, кооперируются. Жизнь леса руководит не борьба за выживание, а законы всеобщей поддержки. Деревья и кустарники в лесу помогают друг другу» (открытие британских и канадских учёных). Заметил давно: моху, ягодику, грибу, траве, высокому и низкому дереву – всем найдётся место, удивительное содружество. Посели же десяток людей под одной крышей, и обязательно найдутся несовместимые пары. А что творится в казармах, тюрьмах – кровь стынет. Кто же произвёл нас, неужели Господь? Нам, как брошенным детям, жаждущим усыновления, надо просить Природу: возьми нас к себе снова. Мы будем хорошие, будем слушаться – вот увидишь.

По самому скромному подсчёту, с мая по октябрь выходил по лесам и полям 800 километров. Если у земли есть память, она меня не забудет. С детства не хватало расстояний, простора, движения. Где бы ни жил, уходил в безлюдье, дальше и дальше, куда глаза глядят. В деревнях провожали взглядами: куда его нелёгкая понесла? что забыл в пустом осеннем поле семейный мужик? Какая нужда гонит в голый лес, на зимний тракт? А я знаю? Не в силах усидеть на месте, замкнутое пространство доводит до иступления. И лишь под небом успокаиваюсь, обретаю равновесие. Это не тяга к путешествиям, мне не нужна вся планета, смена впечатлений и открытий. Меня срывает жажда дали и движения, зов земли, сладость бродяжничества. Кого только ни просят о помощи – врачей, политиков, актёров, священников... А помощница, целительница, утешительница – под ногами, ждёт. Но приходят единицы.

Вот Солоухин задаётся вопросом: «Откуда же пришла красота в повседневный быт, в резьбу, в кружева, в вышивку, в песню, в танец, в живопись? Да из души человека, откуда же

ей ещё было прийти?» Вторичное выдал за первичное. Из природы пришла красота, из её жизни, красок, линий, образов. Из природы – в душу, а из души – в быт и искусство. По-иному и быть не может, потому что душа вышла из земной купели и пребывает в ней вечно.

Выводы этологов беспорны: «мораль есть практически у всех животных», мораль при-суща живой природе так же, как эволюция, смена поколений, жизнь и смерть. Эта мораль удерживает организмы от внутривидовой борьбы и самоистребления. И только «человек разумный» не удержался даже на уровне природной морали и подменил её безудержной жадной господства и подавления себе подобных. Что же остаётся от религии и Слова Божия? Одно то, что они переводят на человеческий язык Слово природы, универсальное и непререкаемое. Природа сотворила живую материю и наделила её духом, а вознёсшийся разум вступил с ним в борьбу. Спасение – в возвращении, природа и разум едины.

Не знаю, есть ли поэма о сибирской яблоне-дичке? Я бы написал. В мае яблоневые ряды тянутся вдоль дорог белоснежными заносами, вздымаются клубами облачной пены, словно земля празднует своё пробуждение. А лесные чащи яблонька превращает в сказочные сады. Воздушные, с розовым оттенком, венчики висят среди молодой зелени кружевным узором – так густо они покрывают ветви и испускают едва уловимый аромат. Проходит 2 – 3 дня, и лепестки осыпаются, видение исчезает, яблоня становится обычным деревом. Только до осени. В сентябре-октябре яблоня снова набирает цвет, красный или жёлтый, и радуется глаз обилием мелких плодов на длинных черешках. В первое время плоды твёрдые и кисло-вязкие – лучше не пробовать. Однако дерево не обманет. Ближе к зиме, накануне заморозков, яблочки наливаются и расплываются во рту приятной прохладной мякотью – у садовых вкус совсем другой. Можно лакомиться всю зиму, если не опередят птицы. И снова ждёшь с нетерпением весны, той короткой и радостно-грустной поры, когда земля украшается дивным яблоневым цветом.

В ноябре, по первым морозам, отправился за город. Белое рассеянное солнце клонилося к закату, над полями стояла холодная тишина. Пушистый снежок искрился, и полевая дорога, казалось, была выстлана солнечным песком – так и пылала; если идти без остановки, то непременно выведет к самому светилу. Светло-жёлтая густая трава по обе стороны отливала мягким светом и успокаивала. Ожидал, что буду первый и обновлю зимний путь – куда там! Податливый снег был испещрён на каждом шагу следами птиц и зверей, иногда такими замысловатыми, что я останавливался и гадал: кто же здесь побывал, кто оставил эти узоры? Уж не гномики ли?

Поворачиваю на заброшенные дачи и собираю всеми забытые плоды. Вот яблонька, усыпанная мелкими красными яблочками; до холодов они отдавали кислинкой, а теперь в самый раз. Вот давно примеченное «Уральское наливное», яблоки жёлтые и мягкие как воск, с медовым вкусом. Правда, на ветках уже пусто, но я разрезаю снежок и быстро наполняю пакет. Хороша в эту пору и калина – пунцовые кисти среди оголённых ветвей, а уж черноплодная рябина – одно наслаждение. Долго она отталкивала оскоминой, и вдруг набралась терпкой сладости, размякла и стала желанной. На ходу общипываю сморщенные сухие ягодки сизого цвета – ирга. Их надо старательно разжевать, и нежный сироп напомнит прелести ушедшего лета. Вяленую и удивительно вкусную вишню я обобрал давно и с сожалением посматриваю на вишнёвые заросли.

Можно дышать, бродить, наслаждаться, если бы не жалкий вид разорённых дач: поваленные заборы, выломанные рамы и двери, руины кирпичных стен. И всюду бурьян, бурьян – выше головы, расплзается и торжествует. Как будто неприятель прошёл, ураган промчался, и трудно примириться с мыслью, что строили для того, чтобы бросить и отдать на поругание – легко, бездумно, беззаботно. Наверно, от нашего фантастического богатства. Разве своё, выстраданное и нажитое, бросили бы? В начале 90-х, под занавес социализма, предприятия раздавали рабочим и служащим даровую землю: бери, сколько хочешь. И хватали больше, чем могли проглотить – дальнюю дикую землю без дорог, воды и электричества. Не колебались, потому

что в безвластной стране набирала обороты великая «грабижка». Дачи строили из краденного и купленного за гроши на заводах, в колхозах, железной дороге... Теперь высовываются среди чертополоха бетонные блоки и кольца для колодцев, металлические ограды и вагончики. Возвели, распахали, посадили, а содержать и обслуживать силёнок не хватило: подпитка иссякла, «грабижку» прикрыли. И сотни, тысячи застроенных участков были обречены нерасчётливыми хозяевами на запустение, разруху и пожизну мелким хищникам. Как пришли, так и ушли. Под Омском повсюду разбросаны памятники людской жадности, бесхозяйственности и легкомыслию. Памятники корыстному перевороту и обвалу, сотворённому в конце 20 века. Жаль обманутой испакощенной земли, да ведь не одна земля: разрушена и стоит половина промышленности. Чем живёт омский завод «Лаки и краски»? Мне отвечают: арендой. А лаки и краски из Подмосковья и импортные. Чем кормится производственное объединение «Ковровые изделия»? Тоже арендой. Вся страна сдана в аренду и превратилась в гигантский мост между Востоком и Западом со встроенными товаропотоками. Производят другие, мы перехватываем.

Омская земля. Не думал в ранние годы, что проживу здесь вторую половину жизни. Заслуга матери, она всегда помнила родину и без колебаний рассталась с Кубанью. А я, наоборот, со своей родины перебрался в Сибирь да тут и остался. Среди людей жилось по всякому, а к земле прикипел. Исходил ногами, прощупал руками, вобрал глазами, прирос душой. Что любишь, то и прекрасно. Любил море – полюбил равнину. Знаю твои реки и озёра, степи и тайгу, луга и пашни; знаю тебя во всех состояниях и нарядах, во все времена года. Иду к тебе с радостью и горем, больной и здоровый, и ты всегда встречаешь, как сына; ни разу не отвернулась, не оттолкнула. Сколько картин открыла ты мне, сколько подсказала мыслей, рифм, образов. Ты постоянно во мне, я слышу твой зов, тороплюсь в твои объятия. И знаю: примешь и успокоишь мой прах.

Пушкин

Первый пушкинский юбилей в развороченной запущенной стране с изверившимся народом, поверженной культурой. Сразу видно, что забота одна: отдать неизбежный долг, погреться у памятника и помчаться дальше. Утешает то, что для Пушкина и для нас казённые юбилеи давно потеряли всякое значение – мы нераздельны. Пока живёт Пушкин, будем жить и мы; пока жива нация, будет звучать и Пушкин. Лучше Толстого не скажешь: Пушкин – наш отец. Истинно отец: дал нам язык, вложил самосознание, указал путь к полноте и совершенству. А мы, неразумные, в ослеплении и гордыне часто плутаем по бездорожью.

Пишу и обнаруживаю удивительную вещь. Казалось бы, никогда преднамеренно не заучивал его стихи, не увлекался безоглядно творчеством... А вот в сознании то и дело всплывают пушкинские строки, выражения, лица. Причём без всяких усилий и напряжения памяти. Как будто вложены эти магические фразы в моё существо с рождения, даны мне свыше, как родовое наследство, для передачи уже моим потомкам и продолжателям.

В самом деле, разве я когда-нибудь не слышал, не знал «Гонимы вешними лучами...», «Мой друг, отчизне посвятим...», «Мчатся тучи, выются тучи...», «На холмах Грузии лежит ночная мгла...», «Сижу за решёткой в темнице сырой...», «Прощай, свободная стихия...» и ещё, ещё... Это было и будет всегда, как родной дом, ключевая вода, небо и звёзды.

И всё-таки, когда же пробудился и зазвучал во мне Пушкин? Помню себя трёх-четырёх-летним на коленях у бабки. Под потолком тусклая лампочка, стёкла затянуты белым мохнатым налётом, в большой комнате пусто и неуютно. В крепких объятиях бабки мне тепло и покойно, сквозь обволакивающую дрему, как заклинание, доносится до слуха: «Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя...» Неизъяснимый ритмический поток убаюкивает и уносит в радужные выси, я крепко засыпаю. А через несколько дней, невыносимо картавя, декламирую: «Выпьем с горя; где же кружка? Сердцу будет веселей».

В пять лет, когда выучился читать, моим кумиром стал королевич Елисей. Я часами перелистывал страницы любимой книжки, жирным черным карандашом пачкал ненавистное лицо царицы, в невыразимом ужасе цепенел от мрака и холода той норы, где «во тьме печальной Гроб качается хрустальный». По-видимому, тогда впервые Пушкин внушил мне понятие о силе любви и тайне смерти.

Позднее, в школе, на глаза попалась богато иллюстрированная книга-биография поэта. С жадным интересом я разглядывал многочисленные репродукции, но только вид Пушкина в гробу заставил бесповоротно-болезненно ощутить его телесное небытие. С чувством кровного горя я пережил его предсмертные страдания, кончину и излил свою печаль в первом стихотворении. Мой наставник Т. И. Гончаренко позволил прочитать его на школьном вечере, и я прямо выкрикнул в зал: «Раздался выстрел одинокий – И рухнул скошенный поэт. Его убил француз жестокий и подлый равнодушный свет».

У Пушкина я нашел идеал женщины, и произошло это в пору цветущей юности, на 18-м году. Уже кружилась голова от прикосновения девичьих рук, уже неясные волнующие грезы туманили воображение, на лекциях всё чаще накатывали рассеянность и отрешённость. Предстояло выступить на шефском концерте перед рабочими учебного завода. Под рукой был «Евгений Онегин». Я раскрыл томик и тотчас погрузился в письмо Татьяны.



Читаю «Письмо Татьяны». Вознесенский маслосырзавод, 1963

Да ведь это обо мне, это со мной! И сновидения, и чудные взгляды, и голоса в душе – незримое присутствие рядом кого-то близкого, желанного. А мне твердили про «энциклопедию русской жизни» и «типичных представителей дворянского общества». Да, энциклопедия человеческих обретений и потерь. Да, представители бессмертного племени влюбленных. Покоренный искренностью и чистотой выраженного чувства, я прозрел, я понял, кого следует искать. Смутные мечты и влечения воплотились в зримый облик.

После смены к заводу подогнали грузовик, откинули борта, и с открывшейся площадки я нерешительно и смущенно произнес: «Я к вам пишу – чего же боле?» А через год, тихой кроткой осенью, на древней владимирской земле я встретил свою Татьяну.

Шли годы. Из ученика я превратился в учителя, но по отношению к Пушкину остаюсь робким почтительным учеником. Нередко ловлю себя на том, что пытаюсь найти в Пушкине своё, а в себе – пушкинское. И с грустью отмечаю, что сходство не затрагивает главного, определяющего. И вокруг себя вижу немало именитых умных людей. Слушаю их рассуждения, споры и думаю: «Э, брат, так и я могу. Далеко тебе до Пушкина». Поражают его всеохватность и всепонимание. Как легендарный Мидас, он превращал в чистое золото поэзии и житейский мусор, и кровавые драмы истории.

Бывают часы изнурительного разлада с самим собой, ощущения своей ненужности и бесполезности. Что я принёс в мир, нашёл ли своё место, любезен ли людям? Беспощадный внутренний дух отвечает: нет, нет и нет. Как-то на лесной тропинке, когда нерадостные думы обступили со всех сторон, в поисках спасения губы непроизвольно прошептали: «И меж детей ничтожных мира, Быть может, всех ничтожней он».

Вот оно, искомое! И Пушкина обуревали сомнения, и его лучезарный гений метался в поисках смысла. Да и не может человек иначе, если погружен в «заботы суетного света». Есть ли выход из гнетущего состояния? Есть, и Пушкин его хорошо знал: «Но лишь божественный глагол До слуха чуткого коснется...» Чем бы ни занимался, даже наедине с собой, не уставай творить. Когда вхожу в класс и вижу 30 пар внимательных глаз – происходит чудо. Душа сбрасывает ветхие покровы обыденности и воспаряет, «как пробудившийся орёл». Нет за окнами дождя и снега, потока автомобилей, людской толчеи; отступают заботы, обиды, боль, тоска. В едином порыве мы устремляемся к вечным загадкам мироздания. Спасибо тебе, Пушкин. Ты научил меня слушать голос моей Музы и, наперекор всему, следовать её велениям.

Читатель

Через 30 лет с наслаждением перечитал дневник Герцена. Когда теперь славословят Самиздат, диссидентов и тогдашних «властителей дум», я задумываюсь: почему я прошёл мимо них, о многих даже не слышал, влияния – никакого. А между тем, шёл в нужном направлении и многое понимал верно. Меня умудрили и вынесли история, классика, Герцен, Чаадаев, Писарев, Толстой, Щедрин – их разносторонняя культура, до которой далеко нынешним, их «движенье умственное, беспокойное, ищущее разрешений...» Вся русская литература с возвращением капитала стала вдвойне актуальной, потому что по-прежнему отсутствует второе слагаемое – зрелость, культура. Объясняя своё время, Герцен лучше всех диссидентов объяснил и моё, наложение полное. Как будто дух его явился посреди выжженной пустыни и сказал: я это уже пережил и знаю, пойдём за мной: научу и предостерегу. Я пошел и иду до сих пор, дух не отлетел и напоминает: продолжение мне тоже известно, и через эти искусы я прошел, но не остановился; следуй за мной дальше. И надо идти, хотя сама история устала и спотыкается, как пьяная баба. «Наши внуки увидят». А внуки видят то же самое, что и пращурь.

За 6 часов перечитал «Остров сокровищ», славная книга: возбуждает тоску по прошлому. Все наши романтики в искусстве – последние его отголоски. С годами чтение станет ещё слаще и приманчивей, потому что никак нельзя вернуть утраченное. И пираты для нас уже не злодеи, а наша невосполнимая частица.

Юбилей Фета его почитатели отметили задушевно и негромко. Не было привычных для больших поэтов славословий, торжеств, памятников, но не потому, что имя Фета малоизвестно. Просто сам характер его жизни в поэзии таков, что не терпит над собой никакого насилия – ни доброго, ни злого. Человеку чуткому и душевно одаренному фетовская муза сама привыкла открывать свои тайники. Её искренний и чистый голос породил эхо редкостной поэтической силы, а наши времена подтвердили её негнущее обаяние и глубину.

Фет познал сполна холод отчуждения современников. Немногие из них, в том числе и Толстой, понимали, что с приходом Фета в мире поэзии заполнилась зияющая пустота. Впервые так ясно и точно строфы поэта вывели наружу изменчивый и бездонный мир души, обозначили все её колебания и переливы. Нить живописных строк тянется свободно и непринужденно, и каждая – драгоценное мгновение жизни. Кому не знаком хаос внутренних переживаний и ощущений, а Фет ведёт себя в нем как властный и зоркий хозяин. Ничто не ускользает от его внимания, перо художника заключает в словесную оправу даже мимолётный порыв.

Половодье дум и чувств поэта приводит современного человека в смятение. Перед ним вдруг открывается простор, который он по незнанию искал совсем в другом месте. Встреча с Фетом подобна прозрению. После него невозможны успокоение, самообман, будничность – «весь этот тлен, бездушный и унылый». Потомки признали Фета кровно своим. Он верил, что придет пора, когда истинные потребности человека вытеснят в нем все вынужденное и преходящее. 1970

Книга Станиславского – упоительный рассказ с детства очарованной души. Ребенок должен на заре проиграть уготованную ему жизнь, в этом назначение детства. Иначе впереди прозябание.

«Гамлет Щигровского уезда» и поразительное сходство с записью 1967 и настроением последнего времени. Действительно, не оригинал: «...на серединке остановился: природе следовало бы гораздо больше самолюбия мне отпустить либо вовсе его не дать». Отсюда всё и идёт. Да неужто мне определена его судьба? Жизнь проходит мимо, а я не умею, не могу войти в неё. Правда, я и сам никуда не рвусь – это утешает.

Дивная «Ночь» Бунина, где человек и природа – одно нераздельное. Среди неумолкающих движений, колебаний и изменений природы течёт такая же своенравная, неуловимая, иссушающая мысль ни о чём и обо всем.

«Мастер и Маргарита» – вещь на века. Роман заболтанный, расхватанный на фразы и выхолощенный, как всё, что пытаются сделать модным. Он в тысячу раз злободневнее именно сейчас, в разгар рыночного психоза, потому что следует сатирическим руслом и жалит всё человечество – низменное и мелкое в утробных запросах. Ему Гоголь – дедушка, а Свифт – отец. Мистика Булгакова реальна, а реальность отдает мистикой. Предмет романа совсем не советские будни, а идиотизм и бессмысленность повседневной жизни рода человеческого. Не нужен и распят Христос, Бога нет среди людей, и его место занял бессмертный Сатана. Даже он потрясен земной картиной. Он устраивает издевательский экзамен горожанам и видит, что ему нечего делать среди них. То, что должен был выполнить Всевышний, делает Дьявол: уводит с собой пару беззащитных и невинных. Где же взять мазь Азazelло? И еще – в меру сатанизма, которым обладает Маргарита, а не Мастер. Спаситель же пригравает непротивленца Пилата.

Язык Солженицына тяжел, нарочито старомоден, продираешься медленно и с потерями. Конечно, наложил печать Гулаг, но гордыня неуместна и в этом случае. А рядом – Зайцев, без тени исключительности, преувеличенной скорби и суровости, с мягкой печалью и необъятной отзывчивостью, как его любимый Сергей. В его невесомой прозе – последний эпический век на Руси, от «Сельского кладбища» до «Степи». А дальше распад, безумие, скольжение в бездну.

«Мелкий бес» ранит навсегда. Его нельзя читать в юности, а понять можно, только пожив, насмотревшись и намучившись. Давно открыто, что оправдать существование может только золотой век, а неизменно выскакивает и хохочет над нами вездесущая недотыкомка. Апогей рутины и абсурда, из которых выход для большинства – могила. Единственное, что разбудило давние переживания – это история юной пары: чистая, нежная и ароматная, без притворства, грубости и расчета. У нас с Ритой было так же. 19-летний дичок и 22-летняя самостоятельная девушка; восторженность одного и спокойное, обдуманное чувство другой; желание и неготовность к плотской близости с моей стороны и сознательная отстраненность – с её. Если бы она, в силу своего превосходства, проявила инициативу, как Людочка Рутилова, наша жизнь повернулась бы по-другому. Но Рита предпочла остаться на высоте безукоризненной порядочности, а во мне не разглядела надежного спутника-мужа. И оказалась права, мужа из меня не получилось.

«Лето Господне» захватило до доньшка. Медленно, постепенно втягивался в повествование, вначале раздражали подробности и широта описаний, пока не понял, что в этом вся прелесть книги. По-другому не воссоздать в слове наполненность, зернистость, многоцветье московской жизни. Мастер сознательно выделяет дорогие ему линии и узоры и убирает, разглаживает чуждое ему. И засверкала самородная православная, разгульная и работающая, восторженная и земная Русь. Здесь и намек нет на маету, бесцельность, скуку, томление – всё, чем мы переполнены. И скажи высокоумный Бердяев филёнщику Горкину или приказчику Василию Васильевичу о том, что для него философия дороже жизни, они посмотрели бы на него с подозрением. Народ так устроил жизнь, что смысл её был определён навечно и заложен в том, как в положенный срок пекли куличи и пасхи, мочили яблоки и солили огурцы, заготавливали лёд, крестили и женили сыновей, праздновали именины, совершали крестные ходы, катались с гор и, само собой, рубили избы, возводили храмы, сплавляли лес. Душевная бодрость после такой книги и – боль, что не защитили себя, а сожгли на вселенском костре: расплата за патриархальность, беспечность, наивность сознания. Конец печальный и безнадежный – смерть отца, хозяина, мастера, раба Божьего Сергея, а с ним и всего русского мира.

Нельзя жить умом и талантом одного человека, непрочное и зыбкое это удовольствие. А мы прожили так тысячу лет и ещё просим: «Дай, хозяин, разговеться, накинь гривенник для радости».

Естественное чувство гадливости у Щедрина к напиряющим Колупаевым и Разуваевым; честного, культурного, бессребреника – к стяжателям, прохвостам, сластолюбцам. Во времена Щедрина они таились в складках крепостничества, спустя век – в щелях социализма, и когда рухнуло то и другое, вылезли на свет и плодятся, как клопы. Чем лучше чумазных коммерсантов чумазные учителя, журналисты, актеры, программисты, профессора, слесари и т. д.? Да хотя бы тем, что загнивают только сами, а владельцы капиталов пускают гниль в подвластную среду.

Опалённый, бьющий наотмашь Зубакин, раздавленный режимом: «Молчи, моё сердце, молчи, Мы сами свои палачи». Светоносная личность, разбрасывающая направо и налево брызги своего гения, нисколько не заботясь о славе. А что мы о нём знаем, кроме скупой публикации? И потому кормимся непристойными шоу и политическими скандалами. Уж насколько слащавой и навязчивой была советская масскультура, но там была хоть какая-то подделка под золото. В рыночном ширпотребе, кроме пошлости и бесстыдства, ничего нет.



Встреча новороссийских экскурсоводов с Ф. Монастырским, комиссаром 83-й бригады морской пехоты и малоземельцем, автором книги «Земля, омытая кровью». 1967

Солоухин: «Не знаю, чем объяснить, но посмотрите, сколько песен сложено в народе про Стеньку Разина, про его удаль и разбойничьи похождения, и нет ни одной народной песни про Пугачёва» («Камешки на ладони»). Объяснение простое: невежество или предвзятость писателя. Открыл бы любую хрестоматию и увидел: песен о Пугачёве – донских, волжских, уральских – не меньше. Как же иначе? Пол-России пошло за ним, «от Сибири до Москвяматушки, от Кубани до муромских лесов».

Мельников-чародей, 4 тома и все безупречным русским языком. Конечно, возьми он другую тему, героев, обстановку – пришлось бы и языком поступиться. Ведь у Пушкина, Тургенева, Толстого язык европейский, и только у Мельникова, Шмелёва – это нетронутый заповедный материк. А идея вечная и грустная: раздельность божьего и мирского, служение тому и другому по их законам: согрешу и покаюсь.

Грогада «Обломова» – вся жизнь, весь человек. Но интересней других женщины, так бы и назвал: «Две женщины». На одном полюсе Ольга, на противоположном – Агафья, насквозь земное существо, и выписана теплее и сочувственней, а в конце романа она поднимается выше Ольги. Та смотрит мимо мужчины, вдаль, где нет ничего, или хочет переделать спутника, поэтому любовь её скоротечна, несёт прикладной характер. Такие вечно любят свою мечту

и самих себя. Агафья любит Обломова без притязаний, целиком и безоглядно, ничем не жертвуя, ничего не отбирая. На наших глазах совершается чудо: домашний талант хозяйки наполняется радостью любви и нежно обволакивает всё существо любимого человека. Эта женщина преображается, не ломая себя. А Ольга остаётся в зыбкой облачной стихии, где всё неразлично и смутно, ей важно «не состариться» – детское заблуждение многих женщин и вообще людей. В погоне за новыми картинками, впечатлениями и прочими призраками они действительно «не старятся», а просто останавливаются в развитии. Одна полоса вытесняется другой, один человек – другим, одно увлечение – вторым, третьим: как вода из худого ведра постепенно понижает уровень. К концу жизни ничего не нажито, не усвоено, кроме последних кусков и эпизодов.

Что же такое обломовщина? Насмешка и торжество над сальной прозой жизни: добычливостью, подсиживанием, изворотливостью, хитростью, скопидомством... Это выход за круг ежедневной обрядности, полнота и величие олимпийского спокойствия, взгляд сверху на всё, что лежит дальше дивана. Многие ли способны свой халат поставить вровень со всеми прианками мира? Только разночинец, замордованный борьбой за кусок хлеба, может возненавидеть обломовщину, но он же и отдаст должное её самооценности, как оборотной стороне отупляющей гонки за успехом. Каждый в душе более или менее Обломов, но не каждый наденет его халат.

Странно было читать в письме Чехова такие строки: «...за что я до сих пор считал Гончарова первоклассным писателем? Его „Обломов“ совсем неважная штука. Сам Илья Ильич... не так уж крупен, чтобы из-за него стоило писать целую книгу. Обрюзглый лентяй, каких много... возводить его персону в общественный тип – это дань не по чину...» И такие же пренебрежительные отзывы об остальных типах. Чтобы не понимал, не чувствовал – не могу допустить: слишком значительный и умный художник. Тогда почему? Да потому, что ревновал, потому что Гончаров был предшественником, а Чехов шёл по его стопам. Половина чеховских героев – обломовы, скрытые или явные, «преждевременно утомлённые люди» вроде того же Иванова. В письме к Суворину он описывается именно как разновидность Обломова, «каких много» – массовость и есть главный признак «общественного типа», в то время как исключительность, своеобразие характерны для личностей. В «Обломове» спрятаны все чеховские пьесы с их отсутствием действия, бессобытийностью: лежит человек на диване, спит, ест и разговаривает; человек, который отказался от себя. Жизнь без цели и смысла, «драма самой жизни». Причём Гончаров, в отличие от Чехова, подал своего героя обнажённо-выпукло, заострённо, без подтекста и недоговорённости, так что последователь неосознанно подпал под обаяние старшего и пошёл дальше, открыл новые обломовские типы в новое время. Эту преемственность углядели и современники Чехова.

Вот террористка-народница Вера Фигнер, натура сильная, честная и прямая. Ей разрешили читать Чехова после 22 лет заключения в Шлиссельбургской крепости. Она поглощает один том за другим и останавливается: «Нет, больше не могу. На пороге второй жизни предо мной проходил ряд слабовольных и безвольных людей, ряд неудачников, ряд тоскующих. Страница за страницей тянулись сцены нестроения жизни и выявлялась неспособность людей к устройению её». Женщина, которая с юности выстроила свою жизнь так, как хотела, безоговорочно осуждает чеховских героев. Но ведь они не придуманы, они наводняют Россию. Довелось прочитать в Интернете мнения молодых о классике. Право, они почти дословно совпадают с чеховскими. 25-летняя Наталья Бушуева: «Я не понимаю, когда книги посвящают лентяям. Зачем мне хлам, который будет тянуть меня на дно!» Софья Колеватых, 17 лет: «Если всю жизнь лежать на диване и мечтать, ничего сверхъестественного не произойдёт и мечты так и останутся мечтами. И это касается не только каких-то материальных вещей, но и любви, друзей». Сразу видно, что обе не читали и судят понаслышке. Но 17-летней Соне простиительно – в её возрасте такие вопросы не всплывают. В 25 лет можно попытаться и понять, а раз

не поняла, то обнаружила ту самую обломовщину, которую осудила. Обломов – не лентяй, и любовью-дружбой не обделён, хотя лежит на диване. Суть в качестве человека, а не в поведении, вне смысла любая деятельность кончается дном. Печально то, что и без дивана ничего сверхъестественного у большинства не происходит: суетливые дельцы и ревнивые потребители. И как это обе не заметили Ольгу, Штольца? Роман-то бездонный, на все времена, как обожаемый ими «Мастер и Маргарита».

«Почему не читал?» – «А зачем?» После такого ответа хочется закрыть все школы. Как будто не было тысячелетия и благоговения летописца: «Это ведь реки, напоющие вселенную...» Нет, не в книги заглядывают нынче, а в экраны мониторов и расчётные ведомости.

Под сильным впечатлением «Жизни Василия Травникова». Пронзительная, суровая вещица о незаслуженности страданий и одиночестве гордой души. Такие истории – сплетение личного и внеличного, а наши, российские, трагедии – все сплошь рукотворные, из подземелий и подвалов.

Чехов в письмах из Сибири дважды описывает эпизод с золотопромышленником. Тот совал пачку ассигнаций за врачебную помощь, а писатель не брал, совестился. Отказался и от 6 рублей за лечение мальчика, потом пожалел. Уж лучше бы взял и промолчал. Как мучила его привитая себе добродетель в тех случаях, где она разорительна и неуместна. И всё-таки он остался рыцарем. Вот это характер!

Задумался: почему «Горе от ума»? Ум в наличии: острый, насмешливый, беспокойный, приметливый, скорый на оценки и суждения, чуткий к переменам, жадный до нового и необычного. Жизнь и людей такой ум рассматривает как объект для критики, нападков и разоблачений. Это поняла Софья: «не человек, змея!» Никто не задаётся вопросом: а каким умом обладает герой? Что это за ум, который только озлобляет, отваживает и плодит врагов? С таким умом можно жить одному да еще с горем. Уверен, что в социальную сатиру Грибоедов вложил более глубокий, вневременной смысл. Его можно выразить народной мудростью: «ум доводит до безумья, разум до раздумья». Чацкий начисто лишен разума, он бестолков, безрассуден. А «ум без разума – беда, разум не велит – ума не спрашивайся». Чацкий не подозревает, что существует такое различие, не догадываются и миллионы умников. Он всем предлагает свой ум, и все отворачиваются. Ум следует подавать каждый раз в новой упаковке, смотря по потребителю. Иной раз съедают гарнир, не трогая основного блюда. Молодой девушке, например, ум влюбленного нужен во вторую очередь. А Молчалин это понимает, он везде свой и ловко обходит умного Чацкого. Как самоуверен, как ослеплен превосходством герой! Как далек он от разумения фундаментальных свойств человека, видит повсюду только тыльную сторону. Там, где нужно сблизиться, влиять, убеждать, входить в доверие, он с нарастающим жаром портит отношения и ссорится. Вот драма наших реформаторов-умников: никогда не умели встраиваться и постепенно переделывать общество, группировать и наращивать силы, вести за собой. Нет, только напролом, наскоком, дерзко. Горе себе, горе с ними. Однако, что это я распыхтелся, наговорил лишку? Ведь Чацкий так молод, ему простительно, да и сам я в положении постаревшего Чацкого среди вечно довольных и не рассуждающих. Да здравствует Чацкий! Да здравствует движение Чацких!

Ходасевич безошибочно угадал символизм «Ревизора». В анекдоте Гоголь бесподобно выразил характерную черту национального облика: видимость выдается за сущность, кажущееся принимается за подлинное. Безобидного вертопраха, не помышляющего об обмане, делают важной персоной и подстраивают под него всю городскую жизнь. Чиновничья логика не совпадает с логикой обычной жизни. Именно человеческая сущность Хлестакова вводит в заблуждение городничего, здесь его опыт надувательства бесполезен. Искренность Хлестакова обезоруживает матерого пройдоху. Бюрократия и обыватели постоянно пребывают в разграфленном иллюзорном мире, видят то, чего нет, чин и человек для них тождественны. «Ревизор» и «Игроки» – два действия единой комедии под названием «Вне игры». Герои про-

игрывают тогда, когда их выталкивают из игры в обычную жизнь. Для городничего и Ихарева нет тайн в призрачном мире бюрократии и карт, но они совершенно не знают подлинных людей и смешны вне очерченного круга. Финал там и тут одинаковый – саморазоблачение героя.

Последние два века – «Ревизор», поставленный в масштабах государства: гениальные артисты доигрались до банкротства. Сочинялись завиральные идеи, выдвигались хлестаковы, творили расправы городничие, из честных людей делали «врагов народа, шпионов и вредителей», а подонков объявляли героями. И до сих пор все ждут ревизора.

Из детства впечаталось: приходила одна из подруг матери и начинала тараторить, частить. Некоторое время мать слушала её и, потеряв терпение, властно прерывала: «Ну, залопотала. Сядь, помолчи и повтори снова, да так, чтобы я поняла». Закрываю последние номера толстых журналов и повторяю как мать: залопотались. Всё вымученное, претенциозное, художочное и невнятное: язык, темы, композиция, стиль, персонажи. Режут заржавленным тупым ножом, и кроме пытки-чтения ничего не добиваются. Какие-то запутанные конструкции-скелеты, отталкивающие безжизненностью и холодом – постмодернизм. Зачем? Для кого? Для себя и своего приятельского круга. Пишут, издают и сами же читают, посылают друг другу шары. Им бы замолчать лет на 10—20 и начать снова. Может быть, тогда начнётся что-нибудь путное, настоящее. А пока печатать одну литературу факта.

Для Рикера состояние счастья в чтении прекрасных книг. Согласен: всегда под рукой, год за годом поглощают и возмещают все остальное: потерянное, несбывшееся, несбыточное. И еще, пока дышу, – музыка, степной ветер, приветливая улыбка.

Музыка

Грязный снег, базарная толпа, переполненные автобусы, а внутри непроизвольно и сладостно звучит: «И чего-то до слез и до боли мне жаль, в темном зале смолкает рояль». Звучит неотвязно и властно, как направленные сигналы с далекой планеты, как отзвук потерянного и забытого.

Слушал «Трубадура» и невольно сравнивал. В европейской опере всегда личные драмы и судьбы. У нас – грандиозные фрески народной жизни, торжество хоровой стихии. И здесь Русь неповторима, особняком, запредельна. А как распевается слово – уму непостижимо. Нет, мессианством не грешу, это же факт: одна Россия в позапрошлом веке стала вровень с целой Европой.

Чайковский рассказал о себе так, как никто другой. В 68-м, в Ростове, мы с Сашей на летней эстраде слушали «Зимние грезы». Перед исполнением он спросил: «А знаешь, что говорят о Чайковском?» Я тогда был совсем наивный и горячо возразил: «Вздор, послушай и сам убедишься». Он слушал впервые. Началось Адажио, мягко и пленительно запел гобой. Саша положил свою руку на мою, крепко сжал и выпрямился. После концерта он сконфуженно признался: «Ты прав, это сплетни». Какой рывок от прозрачной мечтательности и ожидания «Зимних грез» до сознательного прощания с миром в Шестой. Более полного и исчерпывающего ответа нет и быть не может: устремляться, надеяться, срываться и пасть, так и не взлетев до его упоительного Анданте.

Просидел неделю за нотами Литургии Чайковского. Глубинная неочевидная красота, извлекаемая постепенно от звука к звуку, от хора к хору. Выслушают, прослезятся, почистят душу и вернуться каждый к своему корыту. Жаль не людей – искусства, его кратковременной и бессильной власти.

Могучий животворный Бетховен. Он всегда требует участия, мобилизации сил. У него остановка, чтобы сосредоточиться перед броском; мечтательная отрешенность, чтобы накопить энергию для борьбы. А победа или поражение – это не выбирают. Это эпилог, в любом случае заслуженный и выстраданный. Анданте 4 концерта – выражение самой затаенной, хрупкой, стыдливой части души, то, что долго сопротивляется, прячется от когтистых лап потребности. Уже осталось одно невесомо-призрачное колыхание, но пока теплый пар туманит зеркало – человек жив.

Шнитке целиком перенес Пер Гюнта в наш век, его музыка выходит из берегов – расплавленное стекло, раскаленная лава, стирающая все на пути в бездну, даже песчинки. Сидел в холодном поту, пригвожденный и онемевший, вплоть до истерзанных, едва живых скрипок после урагана – слабый намек на мелодию, вернее – тень ее. Прямая переключка с Шестой, но там личная трагедия, здесь – трагедия человечества. Куда дальше, если 19-летний матрос на атомной подлодке расстреливает спящих только потому, что «так решил», а садист организует детдом, чтобы мучить детей. Это уже не частности, не жалкий де Сад, «украшивший» собою целый век. Это конвейер, такой же привычный и обычный, как телеящики, компьютеры, реакторы, роботы, спутники... Перестали негодовать, рыдать, проклинать – вот что страшно, безропотно подчинились тому джину, которого выпустили из собственных недр в погоне за мнимым могуществом и комфортом.

Концерт Крамера – событие высшего порядка. Показал настоящий джаз – импульсивный, воспламеняющий, взмывающий и падающий орбитами электронов. Это было что-то невообразимое: вулкан, гейзер, кипящая кровь. Зал ходил ходуном, а маэстро, в отличие от классических исполнителей, надо обязательно слушать и видеть. Он не играл, он выхватывал из себя звуковую и ритмическую энергию и бросал на жалкие клавиши. Отметил отчётливость, чистоту исполнения: поданы и открыты каждый звук, аккорд, фраза, тема. А ведь так легко было сма-

зять и затушевать. Великолепный урок для преподавателей и ораторов: слушай, вникай, пере-
нимай, как следует держать и развивать ведущие идеи и понятия.

«Появились композиторы, которые, руководствуясь какими-то техническими догмами, я сказал бы – фашистскими началами, – лишили современную музыку мелодии. То, что рождается не от сердца, а от ума, меня абсолютно не интересует». Плассон высказался резко, но справедливо. Фашизм не отрекается от культуры – он выхолащивает её, вводит порядок, не допускающий исключений. Бегство от мелодии – свидетельство творческого бессилия, печать машинной эпохи. Но разве мелодия – излияние одного сердца, чувства? Самый простенький мотив, хоть «Во саду ли, в огороде», – это образ, чеканная мысль, признание. Что остаётся в памяти от необъятного «Тристана»? Насыщенный пламенеющий оркестр и клоко-
чущая непобедимая тема любви-страсти – она-то и скрепляет беспредельную звуковую массу. Таривердиев оставил, между прочим, монооперу «Ожидание» – исповедь одинокой женщины. Слушается с нарастающим интересом. гибкий и разнообразный речитатив с неповторимой интонацией обладает главным достоинством: он напевен и продолжает русскую классическую традицию.

Пономарева, певица с тайной, исполняла авангард. Да ведь это деревенская вопленица: тот же первобытный хаос, излияние безмерного, гортанный голос прашуров. В авангарде современный человек движется вспять, к своему началу, бес-правильному существованию, торжеству восставшей природы. Отброшены массивы и нормы культуры, стерта память, разорваны условности и выпущено из-под спуда животное естество: больно – кричу, страшно – бегу, горе – бьюсь в конвульсиях, радость – прыгаю.

В «Саломее» опять изумила Стратас. Певица и актриса неправдоподобной силы. Читал музыку по ее лицу: от сладострастной и капризной девчонки до женщины, в которой преступление пробудило раскаянье и разум. Она вступила в поединок плоти и духа, чтобы обольстить еще одного мужчину. А вместо самца явился герой и вырвал юную прелестницу из плена вожделий. У Штрауса и Стратас – высокая драма. Такая же по смыслу концовка – в «Головлевых».

На последнем конкурсе Чайковского пианисты угробили романтиков – Шуберта, Шумана, Шопена. Играли технично, аккуратно, старательно. Боюсь, что эту музыку мы уже не услышим. Чтобы почувствовать себя романтиком, надо забыть о премиях, контрактах, гастролях. Надо быть и не быть, присутствовать и отсутствовать, помнить, что «обыденное – смерть искусства» (Гюго). Для молодых же артистов сущее – синоним истинного.

Отовсюду несется «Ave, Maria», превращенная в шлягер, и многие не подозревают, что у нас есть своя «Мария», прекрасная и возвышенная. Это «Мати Божия» Чеснокова. когда-то пел с «Соловухами», и ее воздушные гармонии навсегда остались в душе. Спору нет, обе гениальны, но я отдаю предпочтение нашей. Шуберт (да и Гуно) прославляет, любит, восхищается Мадонной, но выражает *земное* отношение к небесной красоте и совершенству. Его мелодию можно напевать везде и всегда, она не выходит за грани видимого мира. Чесноков прорывается в мир вышний, бесплотный и бесконечный. Он достигает экстаза и вовлекает в экстаз всех страждущих и обременённых. Это благоговейное моление о защите и облегчении, трепетное созерцание, чистый порыв к милосердию и всепрощению. Порыв такой силы, что происходит вознесение.

Читаю священные тексты – не верю, слушаю колокольный финал «Китежа» – верю. Не посягая на место и славу Глинки, Мусоргского, Бородина, я все же уверен: величайшая национальная опера – это «Китеж». Здесь в первый и последний раз русский народ запечатлен в целостном образе: какой он есть и каким видит себя в истории и вечности. Русь живая, в шуме вековых лесов, кипении городской жизни, с «лучшими людьми», нишей братией и бражниками, в непрерывных схватках со «злыми ворогами». И Русь чаемая, омытая слезами и чистой верой, пришедшая в «град невидимый».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.